

Энтони Берджесс

ДОКТОР
БОПЕН



Annotation

Энтони Берджесс — известный английский писатель, автор бестселлера «Заводной апельсин», экранизированного режиссером Стэнли Кубриком, и целого ряда книг, в которых исследуется природа человека и пути развития современной цивилизации.

Роман-фантазмагория «Доктор болен» — захватывающее повествование в традициях прозы интеллектуального эксперимента. Действие романа балансирует на зыбкой грани реальности.

Потрясение от измены жены было так велико, что вырвало Эдвина Прибоя, философа и лингвиста, из привычного мира фонетико-грамматических законов городского сленга девятнадцатого века. Он теряет ощущение реальности и попадает в клинику. Чтобы спастись от хирургического вмешательства в святая святых человека — мозг, доктор сбегает из больничного ада и оказывается среди деградирующих слоев лондонского дна конца двадцатого века, где формируются язык и мышление нового времени.

- [Энтони Берджесс](#)

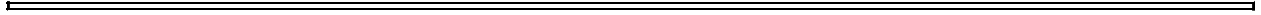
- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)

- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 24](#)
- [Глава 23](#)
- [Глава 26](#)
- [Глава 27](#)
- [Глава 28](#)
- [Глава 29](#)
- [Глава 30](#)
- [Глава 31](#)
- [Глава 32](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)

- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)



Энтони Берджесс
Доктор болен

Посвящается Л. У.

Глава 1

— А *это* чем пахнет? — спросил доктор Рейлтон. И сунул под нос Эдвину нечто вроде чернильницы.

— Я могу ошибиться, но сказал бы — мята перечная. — Эдвин ждал гонга ведущего викторины. Слышалось, как за расставленными вокруг его койки ширмами на колесиках ест остальная палата.

— Боюсь, вы *в самом деле* ошиблись, — объявил доктор Рейлтон. — Лаванда. — Гонг. Но Эдвин еще в игре. — А это?

— Наверно, что-то цитрусовое.

— Снова ошиблись. *Жестоко* ошиблись. Гвоздика. — В мягком голосе тон морального осуждения. Доктор Рейлтон мягко сел на край койки. Мягко, женскими карими глазами с длинными ресницами, взглянул на Эдвина сверху вниз. — Не совсем хорошо, да? Совсем не хорошо. — Ножи и вилки слабо постукивали и поскребывали инвалидным оркестром.

— Я простужен, — оправдался Эдвин. — Резкая перемена климата. — Умиравший английский год постукивал в окна палаты, будто выпрашивал койку. — Когда мы выезжали из Моламьейна, было сильно за девяносто^[1].

— Ваша жена приехала с вами?

— Да. Официально, как моя сиделка. Но почти все время страдала воздушной болезнью.

— Ясно. — Доктор Рейлтон кивал и кивал, словно все было действительно очень серьезно. — Ну, придется нам провести разные прочие тесты. Конечно, не сейчас. В понедельник как следует примемся за работу. — Эдвин расслабился. Доктор Рейлтон, подметив это, выхватил камертон. И поднес его сверху, шкварчащий, как кочерга, к правой щеке Эдвина. — Чуете?

— Среднее до.

— Нет-нет, *чуете*?

— О да.

Мрачный вид доктора Рейлтона лишил Эдвина всякого триумфа. Доктор быстро сделал свой ход:

— Как бы вы определили «спираль»?

— Спираль? О, понимаете, вроде винтовой лестницы. Вроде шурупа. — Обе руки Эдвина принялись описывать спираль в воздухе. — Поднимается выше, выше, все время вращаясь, но с каждым витком постепенно уменьшается, уменьшается, пока просто совсем не исчезнет. —

Глаза его умоляли принять определение.

— Правильно, — подтвердил доктор Рейлтон с той самой своей новой мрачностью. — *Правильно.* — Но имел в виду явно не определение. — А теперь, — сказал он, поднявшись с края койки, грубо толкнув окружавшие ее ширмы, которые скрипуче проехали на колесиках около ярда, с ошеломляющей неожиданностью явив взору едоков мороженого. — Встаньте с койки, — велел новый, грубый доктор Рейлтон, жестом приказывая прекратить симуляцию. Пояс пижамных штанов Эдвина потерялся где-то между Моламьейном и Лондоном; вспыхнув, он подтянул выше щиколоток полосатые обшлага. Едоки мороженого спокойно смотрели, как будто рекламу по телевизору. — А теперь, — приказал доктор Рейлтон, — пройдите по абсолютно прямой линии отсюда вон до того человека. — Указал на возбужденного с виду пациента, который кивнул, как бы выражая готовность участвовать в любом полезном эксперименте, пациент, заключенный в клетки со змеями резиновых трубок. Эдвин пошел, как пьяный.

— Порядок, — ободрил его возбужденный пациент. — Здорово выходит, да.

— Теперь идите обратно, — скомандовал доктор Рейлтон. («До встречи», — сказал возбужденный пациент.) Эдвин пошел обратно, пьяней прежнего. — Теперь лягте в постель, — велел доктор Рейлтон. Потом, словно на самом деле все это не следовало воспринимать *слишком* серьезно, словно он был таким только за деньги, а милей человека после пары пинт не найти, доктор Рейлтон по-мальчишески рассмеялся, играючи ткнул Эдвина в грудь, взъерошил ему волосы, попробовал отщипнуть кусок плеча.

— В понедельник, — посулил он, смеясь, из дверей, — начнем по-настоящему.

Эдвин оглядел товарищей по палате, которые улеглись теперь, сытые, цыкая зубами. Возбужденный пациент сказал:

— Знаешь, кто это был?

— Доктор Рейлтон, не так ли?

— Не, это ясно. Я хочу сказать, кто он раньше был. Хочешь сказать, не знаешь? Эдди Рейлтон.

— Действительно?

— Все по телику выступал, пока учился на доктора. Красиво на трубе играл, да. Понял, нет?

Негр-санитар подошел к койке Эдвина. Тягуче, ласково разгладил постельное белье, прозрачно глядя сквозь толстые интеллектуальные

стекла очков.

— А теперь, — сказал он, — поешьте.

— Нет, действительно, мне, пожалуй, не хочется.

— Да, да, поешьте. Надо есть. Все должны есть. — Низкие тона негритянской проповеди. Он торжественно прошагал к двери. Возбужденный пациент крикнул из своего трубчатого гнезда:

— Эй, притащи нам вечерку. Там малец в холле как раз торговать должен.

— Некогда мне, — объявил негр-санитар, — таскать вечерние газеты. — И вышел.

— Фу-ты, ну-ты, — возмущенно фыркнул возбужденный пациент. — Понял, нет? Прямо тебе чертовски отличный пример доброго самаритянина, да? Я хочу сказать, понял, нет? Прямо, черт побери, на стену лезешь, да? Честно.

Эдвин праздно повозил по тарелке приготовленную на пару рыбу, кучку мятой картошки, уныло оглядывая палату. Все лежали в койках, кроме его непосредственного соседа. Почти все в белых тюрбанах, как паломники в Мекке, хотя это были знаки не благодати, а бритых голов. Полная палата больных хаджей. Сосед Эдвина сидел в своей койке в халате, мрачно курил, глядя на лондонский вечер в неподвижном квадрате. Лицо его носило клиническую усмешку, составную часть сложного синдрома. Во второй половине дня, вскоре после прибытия Эдвина, заходили двое визитеров из другой палаты, тоже с усмешками, чтобы сравнить усмешки. Нечто вроде клуба насмешников. На прощанье они усмехнулись усмехавшемуся соседу Эдвина и с усмешками удалились. Весьма угнетающе.

Впорхнула штатная сестра, угнетающе здоровая, и возбужденный мужчина из клеток и трубок сказал:

— Добрый вечер, сестричка.

Штатная сестра, не ответив, пролетела в конец палаты.

— Вот, — сказал возбужденный мужчина, — понял, нет? Чего я не так сейчас сделал, черт побери? Говорю ей — добрый вечер, а она — не добрый вечер, а поцелуй меня в задницу, ни за что ни про что. Прямо на стену лезешь, да?

— Нет, — запротестовал Эдвин, — я не хочу мороженого. Нет, большое спасибо, не надо мороженого. Нет, пожалуйста, нет. Никакого мороженого.

— Успокойтесь, — зазвучали тона негритянского проповедника. — Успокойтесь, дружок. Вы здесь как раз затем, чтоб успокоиться. Никто не

собирается вас заставлять есть мороженое, если вы не хотите мороженого. Поэтому я просто оставляю мороженое вот тут, возле вашей кровати, просто на случай, вдруг вы передумаете и пожелаете съесть мороженое чуть позже.

— Нет, — твердил Эдвин, — нет. Я не люблю мороженое. Пожалуйста, унесите.

— А теперь успокойтесь. Может быть, пожелаете съесть чуть попозже. — И негр-санитар величественно вышел. Эдвин раздраженно спрыгнул с койки, схватил полное тающее холодное блюдо, готовый его вышвырнуть. Потом подумал: «Осторожней теперь, осторожней, полегче, им понравился бы подобный поступок».

— Если не хочешь, — сказал возбужденный мужчина в трубках, — то мне давай. Я своему мальцу отдам, когда явится вечером. Любит всякое вроде этого, да. Лишь бы холодное. Прямо живьем глотает, да.

Эдвин набросил халат — китайский, шелковый, с ползучими драконами — и прошлепал к койке мужчины. На спинке в ногах красовалось множество графиков — потребление и выведение жидкости, скорость слюнотечения, содержание белка в спинно-мозговой жидкости, а также графики температуры и пульса с взгорьями и глубокими долинами. Имя на всем этом стояло простое и гордое — Р. Дикки.

— Хочешь, покажу тебе всю работу газового завода? — предложил Р. Дикки. — Вот эта вот трубка в перевернутой вверх ногами бутылке как бы накачивает в меня лекарство, а вот эта вот трубка приделана к моей старенькой ерундовине, а вот эта вот воткнута в спину, а вот эта вот точно не знаю куда. А вот это вот типа лебедки, чтоб я мог подняться, а вот это вот типа клетки, чтоб ничего за ноги не задевало. Потрясающе, до чего могут додуматься, да? Смотри не переверни ту бутылочку на полу, потому что в нее вон та трубка одним концом воткнута, а другим мне в старую дыру. Целый день капает, да. А потом измеряют. Потрясающе, нет? Честно. — У него была красная пятидесятилетняя физиономия и волосы в большом беспорядке, словно пребывание в больнице в действительности оборачивалось для него тяжелым морским переходом на траулере.

— Что с вами случилось? — любопытствовал Эдвин.

— Упал с чертовой лестницы на работе. Я строитель.

Простой, драматический несчастный случай, высокое и рискованное ремесло. Эдвин подумал о собственном ремесле, о собственном несчастном случае. Преподаватель лингвистики в одном бирманском колледже в один прекрасный день, практически без предупреждения, упал на пол в аудитории, читая лекцию по лингвистике. Он говорил о народной

этимологии (мансарда, первоцвет, топинамбур), а потом, практически внезапно, отключился. Очнувшись, увидел озабоченные плоские деликатно-коричневые бирманские лица, смотревшие на него сверху вниз, услышал свои собственные слова: «Фактически это вопрос ассимиляции неизвестного с известным, понимаете ли, — нежелания признать иностранное слово действительно иностранным». Лежа на холодном полу, он вполне четко видел, как пара студентов на краю окружавшей его группы записывают эти слова в тетрадах. И изрек: «Мы оказываем уважение лишь попавшему в горизонтальное положение». Это тоже было записано.

Врачи серьезно взглянули на дело, устроив очень нудные серии медицинских обследований. Поясничная пункция показала значительный избыток белка в спинно-мозговой жидкости. Доктор Уолл сказал: «Это свидетельствует о наличии там чего-то, чего там быть не должно. Лучше мы пошлем вас назад в Англию показаться неврологу». И вот он здесь, беседует со строителем, упавшим с лестницы.

— В Германии это было, — добавил Р. Дикки. — Может быть, если б тут, по-другому бы вышло. Гляди-ка, вон идут. Пускать начали.

Начали пускать. Выкатили на тележках цветы, наполнили на ночь бутылки водой и стали пускать посетителей. К койке Р. Дикки направились разнообразные седовласые женщины и сосавший большой палец мальчик, взявшийся есть мороженое Эдвина. К распростертым паломникам Мекки пришли веселые семьи, нагруженные виноградом, включая крепких мужчин в пуловерах с экземплярами «Автокара». К Эдвину Прибой пришла Шейла Прибой. А с Шейлой Прибой неизвестный Эдвину мужчина.

— Милый, — молвила Шейла. — Смотри, это Чарли. Чарли, да? Правильно. Я с Чарли встретила в пабе, и он был так мил, что проводил меня сюда. Я в темноте не очень-то разбиралась в дороге. — Взгляд у Шейлы был не совсем сфокусирован, неаккуратные черные волосы, пудра коркой запеклась на лице. Эдвин почти до ближайшего кубического миллиметра мог вычислить, сколько она выпила. Он ее не винил, ему только хотелось, чтоб она не притаскивала этого самого Чарли.

Чарли взял правую руку Эдвина в обе свои крупные теплые мозолистые лапы.

— Значит, вы Эдвин, — тепло проговорил он меховым баритоном кокни^[2]. — Жена ваша всем в баре рассказывала про ваши болезни. Правда, я очень рад, — сказал он, смуглый, грубо красивый, в лучшем синем костюме рабочего класса.

— Всю дорогу меня сюда вел, — продолжала Шейла, — так как я в

темноте не очень-то разбиралась в дороге. Очень милый. Смотри, что он тебе купил. Потребовал остановиться у киоска на станции подземки и вот это купить. Сказал, ты захочешь чего-нибудь почитать.

— Правда, я очень рад, — сказал Чарли и вытащил из боковых карманов кучу аляповатых журналов: «Девочки», «Божественные формы», «Посмейся», «Кипучее здоровье», «Обнаженная натура», «Голая правда», «Ухмылка», «Жестокая красота». — Дело в том, — сказал он, — что тут ваша жена мне сказала, будто вы мужчина читающий, вроде меня, а когда болей, хорошее чтение время лучше всего убивает. — Махнул одним еженедельником как бы для демонстрации; голые мужчины и женщины тускло усмехались под верхним светом палаты. — Сядем, а? — предложил Чарли, и Эдвин, чувствуя себя плохим хозяином, повел посетителей к своей койке. — Ну, — сказал Чарли, — чем вы там занимаетесь, как тут ваша жена говорит?

— Лингвистикой.

— А. — Все втроем сели на койку, свесив ноги. — Я про нее никогда не слыхал, — признал Чарли, — это факт. Не подумайте, будто я тут говорю, будто такой вещи нету, просто раньше ни разу не сталкивался, не слыхал даже.

— О, — сказал Эдвин, — она точно есть.

— Может быть, только если и есть, то повыше таких голов, как у нас вот тут с ней. — Чарли мотнул головой в сторону Шейлы. — Я вот мойщик окон. Каждый поймет, чего это такое, а при такой работе не попадаешь в места вроде этого. Не подумайте, мойщик окон может, конечно, в больницу попасть, да только не в такую; мойка окон мозгов не касается. То есть не касается, когда ты для этой работы годишься. Кое-кто не годится, и я бы сказал, что вы сами, скорее всего, не сгодитесь. Не хочу никого обижать, да у каждого свое ремесло. Если лезешь по лестнице, то уж не замирай. Повидал я юнцов, только начавших, — мы их зовем неваляшками, — замирают, торчат там на лестнице, и никак никому не заставить их слезть, если они к тому не готовы. Я хочу сказать, отмереть они могут только по собственной воле. Помню, я рубанул по рукам одного такого неваляшку, что замер на высоте двадцати этажей. Ветер был очень сильный, и вот я с подоконника рубанул его ребром ладони, да так отмереть не заставил.

Эдвин страдал акрофобией^[3]. Голова у него закружилась, он тихонько спустил ноги на пол.

— Что с тобой собираются делать, милый? — спросила Шейла.

— Собираются делать анализы, — доложил Эдвин. — Думаю, хотят попробовать заглянуть в мозг.

— Ты им этого не давай, — посоветовал Чарли. — Если еще не свихнулся, они доведут. Потом законопатят, не выберешься, никому не докажешь, что они во всем виноваты, не ты. Мозги — твоя собственность, нечего им там копать. Посмотрел бы я, как ко мне в мозги заглядывают, — презрительно заметил он. — Мозги — механизм деликатный, не то что часы, наручные или стенные.

Подошедшая сзади сестра-индианка с усиками и бакенбардами сказала:

— Миизиис Приибоой? Доктор хочет вам сказать пару слов у себя в кабинете.

— Если попробуют получить у тебя разрешение, — предупредил Чарли, — чтоб проделывать всякое с его мозгами, на что иначе не осмелятся, просто скажи — нет, и все тут. Попросту вот так вот, нет. Самое короткое слово во всем языке, и чаще всех говорится. — Но Шейла уже шла к большой стеклянной цистерне кабинета в конце палаты.

— К вашему сведению, — сказал Эдвин, — это слово не самое короткое в языке. — Он чувствовал, что, ободранный как липка, с одной пижамой, койкой, бутылкой с водой, должен противостоять этому смуглому, задубеневшему мойщику окон, демонстрируя свой единственный авторитет. — Безусловно, кратчайшее — неопределенный артикль в слабой форме. Всего одна фонема. Я, разумеется, веду речь о форме неопределенного артикля, употребляемой перед словом, начинающимся с согласной. — Высказавшись, он себя лучше почувствовал.

А Чарли сказал:

— Отличная девчонка твоя жена. Я говорю «девчонка», не думая никого оскорблять, больше имея в виду женщину, или, может быть, молодую женщину, кто как считает. Я бы сказал, приблизительно твоего возраста, а тебе я бы дал тридцать восемь, хоть у тебя еще полная голова волос. Она нынче явилась в публичный бар в «Якоре» и обставила Фреда Титкомба в дартс. Пила наравне со мной пинту за пинтой. Надо б тебе ее в руках держать.

Эдвин чувствовал очередной поднимавшийся приступ невольного раздражения, сообщавший ему, что он болен.

— Вы ведь не поняли, — подчеркнул он, — про неопределенный артикль. И даже не спросили, что такое фонема. А не знаете, вполне уверен.

— Ну, — спокойно сказал Чарли, — ведь это значения не имеет, правда? К делу, так сказать, не относится. Я целой кучи вещей не знаю, да теперь уже слишком поздно начинать им учиться.

— Нет, не поздно, не поздно. — Эдвин сдерживал поток слез. — Вам прекрасно известно, никогда не поздно. — Кое-кто из ближайших посетителей, с нетерпением ожидавших, когда звонок выставит всех, уже все сказавших, даже больше того, что им было сказать, с надеждой взглянули на Эдвина. Но он, взяв себя в руки, вновь спокойно сидел на кровати, смагивая слезы.

— Все с тобой будет в полном порядке, — заверил Чарли. — Попомни мои слова. Поправишься, здоровей быка будешь. — В этот момент вернулась Шейла, слишком сияющая, чересчур радостная.

— Ну, — объявила она, — кажется, все будет хорошо, вообще не о чем беспокоиться.

— Это все, — спросил Эдвин, — что он хотел сказать тебе?

— Ну да, почти. Говорит, абсолютно все будет в порядке. Вот что он сказал.

— Точно то же самое я ему говорю, — вставил Чарли. — А ведь я не доктор.

Сестра-нигерийка с искусно вырезанной из черного дерева головой вошла с колокольчиком и объявила:

— Все визитеры на выход, если не возражаете.

По палате прокатилась волна облегчения. Эдвин с грустью увидел, как жена с излишней готовностью поцеловала его, пообещала прийти завтра, быстро взмахнула помадой ради здорового внешнего мира. Чарли наказал:

— Читай книжки, что я тебе купил. Держись веселей. Бросай мрачные мысли о всяких вещах.

С уходом посетителей в палате как бы прозвучал тихий удовлетворенный выдох: наконец колокольчик выгнал чужаков. С бодрыми голосами, аккуратно одетые, они принадлежали фривольному миру. Не каждый способен вернуться к серьезному делу болезни — в конечном счете к истинному человеческому состоянию. Виноград и журналы из чужого мира лежали нетронутыми какое-то время — время, необходимое на их акклиматизацию, ассимиляцию. Ближайший сосед Эдвина, к которому никто не пришел, без движения сидевший на койке, задумчиво куря, теперь с ним впервые заговорил. Неподвижно скривившимся ртом он сказал, усмехаясь:

— Жена ваша — прямо отпад. Люблю таких. И к тому же брюнетка. — И молча продолжал усмехаться.

Глава 2

Эдвин вытащил термометр из теплой подмышки, где тот стоял, посмотрел и протянул сестре.

— Девяносто восемь и четыре^[4], — сказал он.

— Вам не положено знать свою температуру, — упрекнула сестра, угрюмая славянка с болезненной желтизной и большими ступнями. — Вам даже не положено понимать показания термометра. — Насупилась над пульсом, оттолкнула запястье Эдвина, записала вечерние показатели. — Кишечник освобождался? — спросила она.

— Да, — соврал Эдвин. Иначе каких она только не выдумает слабительных кошмаров? — В высшей степени.

— Это не обязательно говорить. Вполне достаточно сказать да.

— Простите, — извинился Эдвин. А потом, когда она двинулась прочь, добавил: — Spasibo, tovarisch.

— Благодарить меня не за что. Это моя обязанность. К тому же я не русская.

Эдвин лежал на спине, лампа у койки заливала лицо теплым светом. Он пролистал один из даров Чарли; голые, страница за страницей. Голые, нагие. Эти голые, не нагие. Он встревожился, что его больше волнуют коннотационные различия между двумя словами, чем сама голая или обнаженная плоть, реальная или изображенная. Доктор Мустафа, пухлый смуглый следователь из клиники тропических болезней, куда сначала направили Эдвина, тоже тревожился по этому поводу. «Бывает, что вы не испытываете желания к своей жене? К чьей-нибудь чужой жене? Вообще к любой женщине? Вообще ни к кому?» Потом в спокойном возбуждении подался вперед. «К мальчикам? К козам?» Истинно научный подход. «А как насчет фетишей? — спрашивал доктор Мустафа. — Туфли? Нижнее белье? Очки? — Доктор Мустафа испустил глубокий, глубокий, глубокий сочувственный вздох. — Что-то неладное с вашим либидо. Очень прискорбно».

Действительно, очень прискорбно. Впрочем, подменно прискорбно. Поборовшего привычку к табаку мужчину поздравляет весь белый свет. Но не утрата ли это, пусть даже произвольная, аппетита совсем иного порядка? Да, ибо, несмотря на все выверты Барри^[5], никотин не дама. А дама не никотин. Чья-то жена не пачка «Сениор Сервис». Поэтому все это подменно прискорбно.

Эдвин уставился, теперь, впрочем, невидящим взглядом, на голую по имени «Вера» (зачем кавычки? — недоумевал он). Но думал не о вере, а о верности. Они с Шейлой давно согласились, что сексуальная измена на самом деле вообще не измена. Выпивку, сигарету можно ведь от любого принять, почему точно так же не провести час-другой в постели? Того же типа вещь. Даже когда она не могла по каким-то темным прихотливым причинам делить плотскую страсть друга или незнакомца, всегда была готова спокойно лежать, как пассивная пища, утоляющая тот самый аппетит. «Ça vous donne tant de plaisir et moi si peu de peine»^[6]. Ее любимый девиз. Настоящая измена, по ее мнению, должна влечь за собой полное и окончательное проклятие; она непростительна, это грех против Духа Святого. Предпочесть просто *быть* с другим, связать духовной близостью свою свободную волю с другой — вот истинный адюльтер.

Умом довольно легко понять этот нравственный взгляд, думал Эдвин. Проблемы начинаются с переходом промискуитета из концепции в сферу перцепции. Любопытна способность столь иррациональных женщин к возвышенным рассуждениям, к искреннему изумлению тем фактом, что даже доктору философии захочется выхватить нож, реально *увидев*, реально *услышав*. Эдвин фактически видел, фактически слышал лишь раз, сравнительно недавно, в одном отеле в Моламышине. Шейла любезно простила ему его ярость; в конце концов, несостоятельность его либидо уже имела место; он был не вполне нормальным.

Чего Эдвин боялся сейчас, так это полного краха своей супружеской жизни, ибо Шейла лишилась выбора, права выбора между его постелью и всеми прочими на свете. Она нуждалась в базовом лагере для ведения мародерских набегов; теперь могла найти новый, не пускаясь в целенаправленный поиск. Эдвин не верил, будто кто-либо в больнице, невролог или психиатр, мог хоть что-нибудь кардинально исправить. Либидо навсегда исчезло; любая данная фаза личности всегда может оказаться конечной; он хотел гарантировать, что никогда больше снова внезапно не рухнет на лекции по народной этимологии, по, если для него гвоздика пахнет перечной мятой, кто вправе указать ему на ошибку? Но хотя его подменно тревожило окончание сексуальной жизни, безусловно, на этом предмете можно проверить их брак на прочность. В один прекрасный день все браки станут бесполоыми, однако позади при этом, как правило, больше пятнадцати лет. Тридцать восемь (Чарли не ошибся в оценке) слишком мало, чтобы навсегда упаковывать инструменты.

Насмешник рядом с Эдвином уже спал, тяжело трудясь во сне. В перерывах он объявлял результаты футбола с фантастическим счетом.

Эдвин решил, что действительно предпочитает тревогу из-за утраты сексуального влечения излечению от этой утраты людьми вроде доктора Рейлтона. Он сознавал свою неразумность и неблагодарность, но чувствовал, что это чувство лишает его права выбора. Потом вспомнил, что этого самого права на выбор лишилась Шейла. Он совсем запутался. Потом в затемненную палату с немногими горевшими у коек лампами вошел на цыпочках доктор Рейлтон, как бы с целью прийти, все распутать. Доктор Рейлтон с улыбкой сказал:

— Рад, что вы еще не спите, мистер Прибой. Есть просто парочка мелочей...

— Лучше сразу проясним вопрос, — предложил Эдвин. — Вопрос чинопочитания. Доктор Прибой.

— Доктор? — Доктор Рейлтон насторожился: бред мании величия?

— Да. Университет Пасадины удостоил меня степени доктора философии. За диссертацию о семантическом смысле группы согласных «шм» в разговорной американской речи.

— О семантическом, — повторил доктор Рейлтон. — Вы ведь не очень-то хорошо справились с той самой «спиралью», правда?

— Я и не собирался очень хорошо справляться, — заявил Эдвин.

— А теперь, — сказал доктор Рейлтон, присев на койку, ведя речи тихо, — я вам расскажу небольшую историю. А потом я хочу, чтоб вы мне ее пересказали своими собственными словами. Хорошо?

— Хорошо.

— Было это или не было, — начал доктор Рейлтон, — в городе Ноттингеме полисмен шел к дверям дома одного джентльмена по имени мистер Хардкасл на Рук-стрит. Все на улице говорили: «Ах, наконец-то идут его арестовывать, так мы и знали, рано или поздно его заберут». Однако на самом деле полисмен шел всего лишь продать мистеру Хардкаслу билет на ежегодный полицейский бал. Мистер Хардкасл отправился на полицейский бал, напился, врезался в автомобиле в фонарный столб, был фактически арестован, так что его соседи были неким пророческим образом правы. Теперь перескажите своими словами.

— Зачем? — спросил Эдвин. — К чему вы клоните? Что стараетесь доказать?

— Я свое дело знаю, — сказал доктор Рейлтон. — Перескажите все это своими словами.

— В Ноттингеме есть замок^[7], отсюда фамилия джентльмена, — пояснил Эдвин. — Замок — шахматная ладья^[8], отсюда название улицы.

— А теперь, пожалуйста, — попросил доктор Рейлтон, — перескажите историю.

— Я позабыл историю. История, в любом случае, глупая.

Доктор Рейлтон быстро чиркал заметки.

— Хорошо, — сдался он. — «Веселый» и «меланхолик», в чем разница?

— Есть разные разницы, — сказал Эдвин. — Одно слово трехсложное, другое четырехсложное. Одно французского происхождения, другое греческого. Одно прилагательное, другое существительное.

— Да вы одержимый, — заключил доктор Рейлтон. — Я имею в виду, словами.

— Это не одержимость, это занятие. Моя работа.

— Попробуем цифры, — опечаленно, терпеливо продолжал доктор Рейлтон. — От 100 отнимите 7, а потом продолжайте отнимать семь от остатка.

— 93, — уверенно сказал Эдвин, потом не столь уверенно, — 86... 79... 72... — С затемненной постели раздался голос:

— Семечки, когда в дартс играешь, да? Без конца отнимаешь, нет? — И пулеметом протараторил: — 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2. Ерунда, если в дартс играешь, да?

— Спасибо, мистер Дикки, — саркастически поблагодарил доктор Рейлтон. — Вы нам очень помогли.

— Надо было пособить, нет? Покончено с цифрами, да? — Тут спящий насмешник рядом с Эдвином принялся речитативом напевать свежие результаты:

«Блэкберн» — «Манчестер Юнайтед», 10:5.

«Ноттингем Форест» — «Челси», 27:2.

«Фулэм» — «Вест-Хэм», 19:3.

— Думаю, — вздохнул доктор Рейлтон, — на один день в самом деле достаточно.

— У него ставки, что ль, на уме, да? — уточнил Р. Дикки. — Они самые у него на уме, нет? Ставки.

— Хотите снотворную таблетку? — спросил доктор Рейлтон. — Чтоб заснуть, — пояснил он. Эдвин отрицательно покачал головой. — Ну, тогда хорошо. Спокойной ночи, доктор Прибой. — И ушел.

— Прямо сплошной сарказм, да? — сказал Р. Дикки. — Прямо сплошная насмешка. Вроде торчал бы ты тут, если б на самом деле был доктор.

Эдвин выключил свою лампу у койки, последнюю. Теперь в палате

было темно, кроме слабого ночника над головой и столь же слабой лампы на столике ночной сиделки, на столике, уютно укрывшемся в импровизированном шалаше за ширмами. Ночная сиделка где-то ужинала.

— Рассказывает тут истории про Ноттингем, — не унимался Р. Дикки. — Спорю, он никогда в жизни не бывал в Ноттингеме. У меня сестра туда вышла замуж. Я то и дело ездил повидаться, да. Милый городок, Ноттингем. Потрясающе, как они рассуждают про то, про что ни черта не знают, нет?

Глава 3

Эдвин сидел на краю своей койки с колотившимся сердцем, сильно затягиваясь сигаретой, гадая, почему она не пришла. Воскресное утро отзвенело, отзвонило по себе похоронным звоном, шелестя «Всемирными новостями»; впереди зиял день без докторов, без причиненной боли, расколотый двумя периодами для посещений, лишней закуской, воскресным угощением. Но похоже, не для Эдвина. Два удара на башне через площадь, половина времени для посещений прошла, а она не явилась. Р. Дикки говорил: «Точно так, да, вполне точно», — разговорчивой женщине лет восьмидесяти, наверно своей матери; с насмешником был маленький, хитрый с виду священнослужитель, один подвывал, а другой усмехался, рассуждая о любви Иисуса; дальше в палате в койке сидел молодой человек, горбатый, как Панч^[9], с бородой как у Панча, в шапочке типа лыжной, обсуждая с кивавшим, жевавшим губу родичем автомобильные двигатели. Два куска воскресного ростбифа вдохнули в пациентов новую жизнь. Возбуждившийся Эдвин почувал желание своего кишечника опорожниться. Поделом будет ей, скулил он, пусть придет, а его не увидит; пусть подумает, увезли его мертвого на каталке, так ей и надо.

Он присел в уборной, стараясь вспомнить, в какой отель она переехала, где-то возле больницы. Можно, наверно, позвонить в пивную, куда она, видно, теперь зачастила, в тот самый паб, где она клеит мойщиков окон. Но уже больше двух, а в два все закрывается. Потом, с облегчением кишечника, дерзкая мысль ударила ему в голову. Одеться, выйти из больницы, поискать ее. «Якорь», вот как называется паб, где-то неподалеку. Ресторан, может быть.

Это было довольно легко. Запертые шкафчики напротив умывалки. Под музыку спущенной в унитазе воды он открыл свой; трепеща, вынул мятые брюки, спортивную куртку, галстук и рубашку. Конечно, просить разрешения не к добру. Но никто не узнает. Вошел в одну из двух ванных и стал одеваться. В зеркале видел вполне нормальное лицо, вполне молодое, вполне здоровое, массу темных волос, лишь чуть тронутых сединой. Облачаясь в одежду, Эдвин дополнительно облакался здоровьем и здравомыслием, гладко причесал волосы, закурил сигарету. Но еще себя чувствовал недостаточно вооруженным. Деньги, конечно, — нет денег. Все двухмесячное жалованье, выплаченное в Моламьяйне авансом, конвертированное теперь в пятифунтовые банкноты, отдано жене.

Бумажник тощ, карманы пусты, кроме нескольких шиллингов.

Никто не сделал замечаний, никто, кажется, не обратил внимания на него, проходившего мимо стеклянной коробки служебного отделения при палате. Сестры хихикали там над чем-то, принадлежавшим к их миру без униформы, к миру нарядных платьев и танцев. Может быть, краем глаза видели одежду визитера. Эдвин закрыл за собой тяжелую наружную дверь палаты, побежал вниз по лестнице. В коридоре к вестибюлю высоко в нишах стояли бюсты бородатых медицинских гигантов; читать мемориальную доску Эдвин не собирался. Времени нет — позади слышался негритянский певучий голос, голос того самого серьезного мороженщика.

Прозвенели звонки на уход посетителей. Все было невероятно легко. Он беспечно миновал конторку привратника, размахивая левой рукой. Выйдя за парадную дверь, получил полновесный удар осени в грудь. Ветер псом наскочил на него, покусал; листья неслись, шебаршили по тротуару, исцарапанному металлическими наконечниками тростей; пятисложная меланхолия восседала на постаменте посреди площади. Английская осень; вокруг военного мемориала со свистом проносятся крошечные мертвые души. Эдвин, ежась, пересек площадь, прошагал вниз по переулку, — многоквартирные жилые дома с одной стороны, хиромант по сниженным ценам с другой, — перешел улицу с осенними воскресными пешеходами, свернул за угол, направился прямо к ободряющему фасаду станции подземки. Подземка означает одновременно нормальность и выход. Взглянув вниз себе на ноги, он увидел, что они по-прежнему в больничных шлепанцах. Задумался, не поплакаться ли самому себе, но тут заметил на углу через дорогу паб под названием «Якорь» и неуверенно пошел на ту сторону. Рядом с пабом шел узенький переулок, куда тщетно пытался въехать грузовик. Грузовик ревел, совался вперед и назад, обдирая две стены, громяхая крылом об уличный столб. Эдвин, обойдя грузовик, обнаружил в конце переулка захудалый ресторан. Оттуда доносился тот самый перестук ножей и вилок, какой он вчера вечером слышал из-за ширм вокруг коек, только этот был поглубже. В двух грязных витринных окнах виднелись едоки. Одним из них был Чарли, неумело евший спагетти; накручивал залитые соусом комья на вилку и терпеливо глядел, как они снова шлепаются в тарелку. С ним сидел пучеглазый мужчина в берете, закусывавший бобами. Чарли открыл рот для новой попытки, обернулся к окну, увидел Эдвина. Рот остался открытым, но теперь Чарли не обращал внимания на вилку с грузом. «Заходи», — проговорил губами в окно, маня Эдвина внутрь кивком головы и свободным большим пальцем. Эдвин с

сожалением указал жестом вниз на шлепанцы.

— Вряд ли вправе. Сочтут эксцентричным.

Чарли, по-прежнему с открытым ртом, прижал к окну лоб, стараясь глянуть вниз. Собаки не видно. Поколебался, то ли отправить в рот вилку, то ли выйти к Эдвину. Желваки вздулись на скулах. Триумфально кивнул пучеглазому, Эдвину, прожевал, проглотил; соломенные концы спагетти как бы в восторге ринулись в рот. Чарли, жуя, вышел к Эдвину.

— Нельзя тебе сюда. Надо обратно. Кто тебе разрешил выходить? — наступал он. — Ты ж болен.

— Дело в моей жене, Шейле. Она не пришла.

— Гони ее вшаей, — посоветовал Чарли. — Я во всем этом деле руки умыл. Если свалишься сейчас на улице, ни за что не отвечаю.

— Где она? — спросил Эдвин.

— Где? Откуда мне знать, где она? Зашел сюда с приятелем перекусить. Спагетти, видал? Ни за что не отвечаю. А теперь вдвое быстрее возвращайся в больницу.

— Сначала я должен увидеть ее. — Ноги в больничных шлепанцах мерзли. Его охватила извращенная тоска по болезненной, только что покинутой теплоте.

— Прямо вон там можешь попробовать, — сказал Чарли, указывая в конец серой улицы. — Туда куча народу тащится, когда отовсюду выкидывают^[10]. Клуб, так сказать. Членов нету, одни посетители. Скоро закон до него доберется. Если пойдешь, долго там не торчи. Правда, красиво, если тебя, больного, закон за незаконную выпивку заметет. Да еще в войлочных шлепанцах.

— Попробую.

— Ладно, только посматривай по сторонам. Ну а я вернусь к этим спагетти. Жутко неудобно. Итальянская пакость. — Чарли, косясь, вернулся в ресторан. Эдвин пошел вниз по улице, мимо сумеречного индийского ресторана, откуда, как ему было известно, должно было пахнуть куркумой, но вместо этого казалось, что клеем. Вышел на угол к безымянному заведению с единственным окном-витриной, покрашенным синей краской, с такой же голубой распахнутой дверью, с панелями цвета хаки. Осторожно входя, видел пол в проходе, усеянный обрывками старых изданий для любителей скачек, окурки, грязь, кукольный торс, спущенный мяч. На двух дверях в левой стене висели замки. Другая вела в кипучий шум, музыку. Он неуверенно к ней подошел и открыл. Шум жарким ударом взлетел по подвальной лестнице, согревая холодный сырой подвальный запах — для Эдвина любопытно цветочный. Ненадежная крутая лестница вела к

последней двери. Постучать? Нет, сказала дверь, яростно распахнувшись. С гамом и протестами в нее был вытолкнут слюнявый уличный мальчишка в бирюзовом свитере с вышитым желтыми нитками на груди именем ДЖАД. Эдвин прижался к стене.

— Токо попробуй ессе раз, — предупреждал моложавый семит в старом костюме, — и просто больсе не сунесся. Полусис сперва таки кое-сто. Кое-сто, сто наусит тебя больсе таких стук не пробовать. Не токо тут, — пригрозил он, — а и в любом другом месте. — У него формировалась неаккуратная лысина; шоколадно-коричневый двубортный костюм сзади обвис, пузыри на коленях. Он принялся толкать уличного мальчишку в крестец вверх по лестнице. Мальчишка разразился уличными словами. Семит со скорбными глазами вскинул для защиты подбородок и руку.

— Хреновая шарашка, — сказал мальчишка. — Куча старых хренов. — Ни капли не испугавшись, со свистом понесся вверх, звучно, раскатисто припечатывая каждый шаг, словно бочка сельди катилась.

Семит сообщил Эдвину:

— Вот сто полусяется. Я таки погубил бы это заведение, пуская сюда вот таких вот молокососов. Я это заведение погубил бы, никто больсе. — И скорбно, с отголоском левантийской куртуазности предков, увлек Эдвина внутрь. Объемистый мужчина в полосатом бумажном свитере, с застежкой на ремне в виде змеи, стоял перед ними, держа в руке пиво, застыв неподвижным персонажем пластической картины, которую Эдвин как будто зашел посмотреть.

— Я бы это сделал, — сказал он, — если б ты попросил, да ведь ты так и не попросил. — У него были мелкие, не сказать чтобы несимпатичные, усатые черты, теснившиеся, словно шрифт дорогого издания, на лице с широкими полями. Эдвин высматривал ее над головами, между головами гораздо более некрасивых мужчин и расхлюстанных женщин. Впрочем, одна аккуратная пьяная женщина средних лет в красивой шляпке спокойно раскачивалась под музыку с партнером, державшим стакан «Гиннеса». Семит опечаленно покачал головой, с карими, полными скорби глазами.

— Вот у нас тут какие дела. *Ненавизу* это заведение, — признался он с горькой Моисеевой страстью, — ненавизу, как никогда нисего больсе не ненавидел.

Эдвин пробирался к стойке бара, толкаясь, извиняясь, и — вот она, Шейла, красивая, в зеленом костюме. Широко открыла ошеломленные глаза, быстро нагнетая в него облегчение.

— Милый, — вскричала она, широко разводя сигарету и стакан с

джином. — Ты сбежал. Они у тебя ботинки забрали, — добавила она, ничего не упустив.

— Ты не пришла, — объяснил Эдвин. — Я забеспокоился.

— Но ведь я, разумеется, приду вечером.

— По воскресеньям иначе. В воскресенье можно дважды прийти. Лишнее посещение по воскресеньям.

— Ох, — сказала она, — я очень виновата. Должна была знать. Глупо с моей стороны. — Чего Эдвин никак не мог понять, так это каким образом семит находился в двух местах одновременно: у дощатой стойки, облаченный в костюм с галстуком, и весело обслуживающий за нею клиентов в рубашке с короткими рукавами. Доктор Рейлтон сделал бы из этого хороший вопрос викторины.

— Откуда ты знал, что я здесь? — спросила Шейла. — Да, — сказала она, — вижу твои затруднения. Понимаешь, они близнецы, Лео и Гарри Стоуны. Это Лео за стойкой. Ведут здесь дела, если это можно назвать делами. Грек-портной только что спрашивал, какая у меня такса за вечер, а вон тот брюнет за задницу ущипнул, а один тип, англичанин, танцует самым что ни на есть странным образом.

— Может быть, — попросил Эдвин, — купишь мне чуть-чуть виски или еще чего-нибудь?

— Только не виски, — отказала Шейла. — Тебе велено оставить выпивку на два года. Легкий эль.

Эдвину подали золотистую воду со вкусом мыла и лука.

— Не особенно, да? — сказал Лео Стоун. Его лысина дальше продвинулась по сравнению с близнецом, заметил Эдвин. Акцент с патрицианской подкладкой, словно он был когда-то старшим приказчиком. В музыкальном автомате в дальнем углу два кастрата нового поколения пели радостными американскими голосами про тинейджерскую любовь под запись тинейджерских воплей. Начались неуклюжие танцы. Лохматый пес пробудился от сна и гавкнул.

— Все в порядке, — сказал ему Гарри Стоун. — Никто тебя не тронет, я тебе обещаю. Пускай токо пальсем кто-нибудь тронет, уз я с ним разделаюсь, будь я проклят. — Пес успокоенно зевнул. За стойкой вдруг запел электрический котелок. — Вот, — сказал Гарри Стоун, — твой обед посьти готов. Токо дай время остыть. Вкусное бысье сердце, — сообщил он объемистому усатому мужчине. — Сам бы съел, будь я проклят. — Объемистый мужчина отрыгнул глоток пива, превратил отрыжку в рев рога Зигфрида, сопровождал его криком:

— Nothung! Nothung! — и завершил парой тактов горящей

Валгаллы^[11].

— Не обрассайте внимания, — посоветовал Эдвину Гарри Стоун. — Он работает на Ковент-Гарден^[12], вот так вот. — И качнул головой, с обезумевшими от боли глазами, над мировой глупостью, глядя на Эдвина так, словно они вдвоем были в заговоре здравомыслия. Бычье сердце, вытащенное из котелка двумя открывалками для бутылок, дымилось на мокрой стойке. — Зди, Ниггер, — велел Гарри Стоун. — Или, слусай, Лео, сунь его просто под кран.

Медуза Горгона в длинном пальто, таком же облезлом и тускло-черном, как собачья шкура, подошла к Эдвину, приглашая потанцевать.

— Фактически, я никак не могу, — сказал Эдвин. — Мне, фактически, в больнице надо было бы быть. — Но, будучи в высшей степени джентльменом, втянулся в плясавшую джигу толпу. Поискал Шейлу глазами, однако его от нее оттеснили двое новичков, плативших за выпивку, — молодые худые гвардейцы, ослепшие за козырьками фуражек. Шла буйная танцевальная толкотня перед золотым тельцом музыкального автомата: мужчина, вытащивший для смеха вставные челюсти; женщина с лениво, не в такт музыке прыгавшими грудями; человек средиземноморского типа, выбритый до матовой синевы; водитель автобуса в форменной фуражке; благородная, трясущаяся от джина женщина в дождевике; две плоскогрудые девушки, которые деревянно танцевали друг с другом, переговариваясь по-немецки; блондинка средних лет с бульдожьей физиономией, — все смешались в подвижную массу, похожую на гороховый пудинг. В кипящее варево добавились Эдвин с партнершей, энергичной, со змееподобными шевелившимися волосами. Вскоре Эдвин обнаружил, что один шлепанец слетел. Он плясал, как бы изображая согбенного старца, заглядывал под ноги, под музыкальный автомат, во все углы. Шлепанца видно не было. Он потерял другой; потом, танцуя, почувствовал, что носки промокли от пролитого пива. Когда музыка смолкла, все подкрепились.

— Чего он потерял?

— Вроде тапки, только я не пойму, как это может быть.

Благородная женщина в дождевике осторожно сказала Эдвину:

— Вижу, вы артистичны, как я. Я позировала лучшим художникам, самым лучшим. Джону, Сиккертю и еще одному, как его... Вы должны посмотреть меня в Тейте^[13].

— Шлепанцы, — сказал Эдвин, встав на колени, вглядываясь между ногами сидевших людей. — Вон один, — объявил он, ползя на

четвереньках к двум девушкам-немкам, одна из которых сидела у другой на коленях.

— Эдвин, — окликнула Шейла, — что ты делаешь?

— Шлепанцы.

— Нельзя было тебе выходить, ты же знаешь. Я сейчас позвоню, такси вызову, и отвезу тебя прямо туда.

По какой-то причине факт потери шлепанцев и исполнения танца в носках внезапно вселил в вытащившего зубные протезы мужчину нежное чувство к Эдвину.

— Выпейте-ка вот это, майор, — прошамкал он. — Возьмите в правую руку и повторяйте за мной. — Он был в хорошем костюме, но без воротничка и без галстука. Возбужденный Эдвин увидел в своей руке стакан скотча. — Видно, вы любите позабавиться, вроде меня. Я сразу заметил, как только вы вошли. — Кажется, посетители клуба быстро подмечали родственные черты.

— Сейчас я обратно тебя отвезу, — пообещала Шейла, — допью, только. Танцевать в носках, надо же. Взглянуть бы, что там у тебя в голове. — Шокирующая уместность подобного замечания поразила ее. — Ох, — сказала она, — я вовсе не это имела в виду, ты же знаешь. — И взяла его под руку.

— Завтра утром начнут, — сказал Эдвин.

— Да, милый, а сегодня, по-моему, тебе надо как можно дольше поспать. Я к тебе не приду. В конце концов, мы уже повидались сегодня, не так ли?

— Ох, — сказал Эдвин. — Ну, думаю, дело твое.

— Естественно, я приду завтра вечером.

— Визу, вы на полки поглядываете, — обратился к Эдвину Гарри Стоун. — Не густо, да? — Полбутылки джина и обнаженная пластмассовая фигурка. — Не полусис кредит, не сделаю особых запасов. Стыдно думать, сто я погубил заведение. Наверно, потому, сто так сильно его ненавижу. — Пес Ниггер дожевывал оставшийся желудочек. — Покупаем в розницу в баре в «Якоре» перед закрытием, и немножко наворасиваем. На самом деле так дело не делается.

Девушки-немки принесли по шлепанцу каждая.

— Danke sehr^[14], — сказал Эдвин. И тут услышал, как крупный мужчина, работавший в Ковент-Гардене или на Ковент-Гарден, рассуждает о филологии.

— Итальянский язык — просто прелесть, — говорил он. — Я слышал самых лучших итальянских певцов всех времен. Говорят, для пения самый

лучший язык. Само собой разумеется, — нелогично добавил он, — потому что старейший. Итальянский просто тип латыни, а латинский язык самый старый.

— О, есть языки и постарше, — возразил Эдвин. — Санскрит, например.

— Ну, вопрос спорный, правда? — Крупный мужчина говорил на каком-то северном английском, медленно, долгие годы, приближавшемся к кокни.

— О нет, — заявил Эдвин, — не спорный. Это факт. — И приготовился к лекции.

Шейла сказала:

— Хватит, едем обратно. — И крепче взяла его под руку.

— Минуту, дорогая. Я просто хочу продемонстрировать нашему другу...

— Меня зовут Лес.

— Очень приятно. Хочу продемонстрировать Лесу...

— Пошли. — И потянула его. У Эдвина возникло впечатление, — впрочем, возможно, ошибочное, — будто она быстро скорчила гримаску братьям Стоун, дав понять, что ее муж не вполне нормален, нельзя поощрять его к разговорам. Хотя он был уверен: не покрутила пальцем у виска. Вполне уверен.

Глава 4

Они шли обратно в больницу пешком, Шейла крепко держала его под руку. Еще даже не пришло время чая: выход Эдвина оказался недолгим. Лишь на ступеньках перед главным входом он спросил о том, о чем хотел, но боялся спросить. Шейла сказала:

— По-моему, я теперь хорошо знаю дорогу. Даже в темноте. Смогу пройти самостоятельно. — Вдруг дунул холодный ветер, по мостовой полетели сморщенные листья. Эдвин спросил:

— Зачем тебя хотел видеть Рейлтон?

— Рейлтон?

— Ну, знаешь, доктор. Слушай, — добавил он, — холодно. Зайдем в вестибюль ненадолго.

— Пожалуй, не пойду. Не могу, правда. Я так обрадовалась, что ты вышел. Ненавижу больницы.

— Что он сказал?

— Разве я тебе не говорила? Что все будет хорошо, чтоб никто не беспокоился.

— Брось. Только для этого он бы тебя не позвал. Что он на самом деле сказал?

— Еще чего-то, только, собственно, я говорила. Хотел кое-что уточнить, всякие вещи из первой истории болезни.

— Например?

— Ну, ты знаешь не хуже меня. Про то, как ты упал, и так далее. Сколько пил. Про нашу супружескую жизнь. Были мы счастливы, и так далее.

— Ну и что, были, нет?

— Были, конечно. — Тон не слишком убежденный. Она сунула руки в крошечные кармашки жакета. — Холодно. Слава богу, я привезла с собой шубу.

— И о сексе, конечно?

— И о сексе. Слушай, по-настоящему холодает, правда? По-моему, нехорошо тебе стоять на холоде.

— Что они подозревают? — спросил Эдвин.

Шейла помялась.

— Не знают, что подозревать. Говорят, явно что-то не в порядке, скоро надеются выяснить. Не думают, будто слишком серьезно.

— Как же можно так думать, не зная, что подозревать?

— Не имею понятия. Я не доктор. Слушай, я замерзла. Честно, это все, о чем шла речь.

— Хорошо, — сказал Эдвин. А потом добавил: — Мне очень жаль насчет секса.

— Ох, все будет хорошо. Я уверена. — Она элегантно притопывала, приплясывала, подпрыгивала на холоде. — Глупо было с твоей стороны выходить в шлепанцах.

— Да. Вечером чем собираешься заниматься?

— Ох, черт, — сказала Шейла, — чем я могу заниматься? Знаешь, не очень-то весело мне торчать тут в дешевом отеле, никого не зная.

— Ты знаешь мойщика окон, пару близнецов-евреев.

— Ох, не будь идиотом. Тебе отлично известно, что я имею в виду. Они, кстати, *наполовину* евреи. Лео знает Бирму, по его словам. Был военным моряком.

— Пожалуй, я лучше войду. — Эдвин хотел оказаться в уютной палате, где нянечки-итальянки подают чай, почитать статью по морфологии в самом последнем номере «Лэнгвидж».

— Никаких развлечений. — Кажется, Шейла была готова продолжить беседу. — Чем, по-твоему, я должна заниматься по вечерам?

— Существует кино, балет... — Больше ничего не приходило в голову. — Театр, — вспомнил Эдвин. — Опера. — Звучало все это скучно.

— Знаешь, не могу же я одна ходить.

— Другие женщины ходят.

— А я не хожу. В «Якорь» заглядывал бородатый мужчина. Обещал в свой клуб меня взять. Писатель, художник или кто-то еще. Все-таки хоть какое-то разнообразие, может быть.

— Будь осторожна. В Лондоне попадаются весьма странные типы.

— Ведь я не ребенок, на самом деле. Он сказал, с большим сожалением слышит, что мой муж в больнице. Сказал, наверняка мне очень одиноко. — Шейла фыркнула и содрогнулась. — *Ужасно* замерзла, — сказала она. — Мне *надо* идти.

— Не придешь вечером?

— Ты уже получил свою долю. — Она улыбнулась. — Постарайся пораньше заснуть. А я завтра приду.

— Хорошо. Ох, отель.

— Что?

— Отель, где ты сейчас. Где он, как называется?

— Не хочу, чтобы ты вылезал из постели звонить, простужался и

всякое прочее. В любом случае, не совсем точно помню название. Ах да, «Фарнуорт». В больнице, в любом случае, знают. Адрес ближайшего родственника.

Шуршали листья.

— Мне очень жаль, что все так получилось, — сказал Эдвин. — Но ведь для тебя это нечто новое, какое-то разнообразие, правда? Вроде каникул. Приятная перемена после Моламьяйна...

— Мой дорогой, милый Эдвин, зачем ты извиняешься? На этот счет, я имею в виду. Ты тут не виноват. И действительно перемена после Моламьяйна. Холоднее, немножко грязнее... Да нет, нет, мне нравится Лондон, я просто шучу. Протяну как-нибудь. Иди теперь, пей свой чай, или что там еще.

— Это *ты* должна есть. Я уверен, что ты мало ешь.

— Ем нормально. А теперь иди к своим милым сестрам. — Она снова затанцевала; листья плясали вокруг, как котята. — Ну, я *должна* идти, — сказала она, — и немножко согреться. Ох, — добавила, — чуть не забыла. — И наградила его холодным поцелуем; холодным, предположил он, потому что губы замерзли, потому что она хочет уйти и согреться. Тепло, думал он, вот чему мы верны до конца. Шейла ушла быстро, как школьница.

Эдвин вошел в больницу: те две девушки-немки, думал он, назвали бы ее психушкой. Привратник из-за конторки окликнул его:

— Слишком поздно для посетителей, сэр. Вечером заходите.

— Разве я похож на посетителя? — сказал Эдвин.

— Выходящие пациенты, — сурово указал привратник, — должны записывать свои фамилии. У меня тут не записано никаких фамилий.

— Доктор Прибой.

— Ох, простите, сэр. Я не знал, сэр. Прошу прощения.

Эдвин не пошел в лифт, он терпеть не мог лифты. Медленно поднимался по лестнице к своей палате. Вокруг не было никого, способного сделать выговор. Он медленно подошел к шкафчику, вытащил свою пижаму, халат, спокойно переоделся в ванной. Снова исследовал лицо в зеркале: лицо казалось вполне нормальным. Потом вспомнил, что забыл задать Шейле последний откровенный вопрос. По ее мнению, он изменился? Впрочем, она уклонилась бы от ответа. В пижаме, в халате, вошел в длинное теплое больное помещение, бывшее теперь его домом. Разносили чай. Р. Дикки сказал:

— Ты где был? Все тебя спрашивали.

— Чего хотели?

— Да ничего. Просто хотели знать, где ты был.

— Я был... — Даже будучи филологом, Эдвин стыдился публично произносить некоторые слова, подыскивал эвфемизм, и автоматически выскочил тот, что использовал сам Р. Дикки. — В старой дыре, — сказал он.

— Долгонько сидел.

— Дело довольно долгое и огорчительное, — объяснил Эдвин.

— Скажи только им, вставят клизму по-черному. Честно. Огорчительное, да? Законное словечко.

Глава 5

На следующее утро Эдвина препроводили в подземный мир женщин-техников — молодых женщин в белых халатах с крутым перманентом, небрежно самоуверенных. У них был какой-то двусмысленный статус. Несмотря на отсутствие клинических знаний и довольно узкую сферу обслуживания определенных машин, они никого не слушались. Видно, имели доступ в некую особую прачечную, отбеливавшую их халаты до ослепительной белоснежности, отчего разнообразные штатные медики выглядели почти грязными. Высоко вскинув голову, быстро стучали по коридорам высокими каблучками. Эдвин плелся, шаркая ногами, за одним из этих бойких созданий в отделение рентгенологии.

Он прижался холодной грудью к пластине в стене, слыша щелчок отснятого снимка. Его пристегнули к лежанке, под разными углами запечатлели оскаленный череп.

— Вебстер, — сообщил он, — тоже видел череп под кожей.

— Кто такой Вебстер?

— Поэт.

— А, поэт. — Девушка суетливо сунула новую пластину. Приказала: — Не шевелитесь. Лежите абсолютно спокойно. — Очередной щелчок. — Я не особенно увлекаюсь поэзией, — сказала она. — В школе, по-моему, еще туда-сюда.

— Вы считаете, лучше быть рентгенологом, чем поэтом?

— О да. — Сказано с профессиональным пылом. — В конце концов, мы спасаем жизнь людям, правда?

— Зачем?

— Что вы хотите сказать, — зачем?

— Какова цель спасения жизни? Зачем вам нужно, чтобы люди жили?

— Это, — сухо объявила она, — не мое дело. Не входит в мои обязанности. Ну, если вы просто тут обождете, я отдам снимки в проявку.

Эдвин надолго был предоставлен самому себе. Выглянул в окно на ряд мусорных баков. Две жирные кошки спали серым осенним утром, слишком жирные, чтобы мерзнуть. На чем они жиреют? Наверно, на выброшенных мозговых тканях. Сверкающая машина как бы сверлила ему спину взглядом. Он обернулся, стал играть с ней в гляделки, стараясь переглядеть. Где-то должен быть изъясн, порочащий эту приземистую элегантность. Эдвин излечивался от своей юношеской робости перед нарядностью и

красотой, выискивая микроскопические, но характерные признаки упущений, — крошку перхоти на черной сарже, след от пирожного в уголке губ. И теперь, подойдя к тяжелому полированному аппарату, с удовольствием обнаружил пятно ржавчины. Больше того, в фанерной коробке на подоконнике среди металлических клемм и трубок торчала одинокая белая кнопка. Он ликовал. Вернувшаяся женщина-рентгенолог нашла его величаво танцующим на полу.

— Все в порядке, — сказала она, опасливо тараща на него глаза. — Вполне четкие. Сумеете найти дорогу обратно в палату?

Эдвин сумел. Войдя, увидел совершавшийся в палате обход; великий человек с сателлитами, среди которых был доктор Рейлтон, переходил от койки к койке. Эдвин знал — это мистер Бегби, знаменитый невролог, прославившийся открытием синдрома Бегби. Негр-санитар, тихий, замерший в благоговейном страхе, точно на мессе верховного понтифика, проводил Эдвина к его койке, уложил, хлопоча, как курица-наседка. Эдвин неподвижно ждал, будто очереди к причастию.

Левое нижнее веко мистера Бегби дергалось в тике. Так у дантистов иногда бывает заметный кариес, а дети сапожника не имеют сапог.

— Вы, — сказал мистер Бегби, — должно быть, мистер Прибой. — Сателлиты в белом расплылись ободряющими улыбками; доктор Рейлтон казался взволнованным младшим сержантом на генеральской инспекции.

— Доктор Прибой. — Это надо дать ясно понять. — Доктор философии, — пояснил Эдвин.

Улыбки еще шире.

— Так. И вас сюда направили...

— Меня направили из клиники тропических болезней. Я прибыл сюда прямо из Моламьяйна.

— Так. И где вы фактически служите?

— В МСРУО. Международный Совет по развитию университетского образования.

— Очень хорошо, — заключил мистер Бегби, сморщив нос, словно эта организация внушала подозрения. С большой сосредоточенностью заглянул в карту, которую держал в руке. — Так, так, — сказал он. — При чем тут линкор?

— Линкор?

— Согласно записям, вы, кажется, одержимы линкорами.

— А, — рассмеялся Эдвин. — Ясно, как это вышло. У меня иногда бывает мигрень. Боль как бы сопровождается видением линкора, плывающего мне прямо в лобные доли. — Последовали смешки над

экстравагантным видением; палатную сестру, видно, взбесила претензия Эдвина на анатомические познания.

— Это, — объявил мистер Бегби, — совсем на мигрень не похоже. Ну, посмотрим, посмотрим, что тут можно сделать. — И вздохнул с усталостью человека, который столь многим помог, заслужив так мало благодарности. Процессия проследовала к насмешнику. Мистер Бегби похлопал его по спине.

— Это лицо мы вправим, — пообещал он. — Не бойтесь. — Лицо было для мистера Бегби чем-то вроде простой конечности. Белые птицы слетелись к Р. Дикки. Глухо доносился голос последнего, судорожные вопросительные рефрены: «да?», «нет?». Да, соглашался мистер Бегби, да.

Прямо перед завтраком явилась другая легионерка, сдержанная, аккуратно причесанная, в белом халате, с обнаженными розовыми руками, чтоб заняться чем-то вроде кулачной терапии с молодым человеком с бородой как у Панча, горбатым, как Панч, в шапочке для занятий зимними видами спорта. Она яростно колотила его, на что он отвечал глубоким кашлем, сплевывая в поддон мокроту. Лились звонкие струи в подкладные судна. Пошли в ход бутылочки, под простынями совершалось стыдливое мочеиспускание. Потом были объявлены дневные процедуры Эдвина.

— Люмбальная пункция, — сказала сестра, красноносая шотландка, со вкусом раскатывавшая букву «р». — Возьмут у вас немного жидкости из позвоночника. Потом отдадут в лабораторию. Потом посмотрят, чего там не так.

— Мне уже делали, — сказал Эдвин, — дважды.

— А мы еще разок сделаем, — парировала сестра и, довольная остроумным ответом, вернулась к себе в кабинет.

Какой-то шутник из отдела питания решил подать на завтрак вареные мозги. Другой повар, более мягкосердечный, прислал картошку, приготовленную четырьмя разными способами, крошечную антологию картошки. Пришел чернокожий мужчина с мороженым, сардонически сверкнув глазами на Эдвина. Эдвин прочел свой филологический журнал — сухой американский подсчет слов в «Сове и Соловье». Вот уж действительно вареные мозги.

В приятное время послеобеденной апатии, еще преследуемой вкусом выпитого после завтрака чая, подкатили ширмы, расставили вокруг койки Эдвина.

— Пока, корешок, — попрощался Р. Дикки. — Свидимся в другом мире.

Врач в очках с мягким лицом, моложе доктора Рейлтона, подошел к

Эдвину, представившись доктором Уайлдбладом.

— Мой коллега, — сообщил он, — на репетиции. Знаете, играет на трубе.

Позади наклонилась сестра. Эдвина попросили лечь на бок, обнажив ягодицы и поясницу.

— Хорошая чистая кожа, — заметил доктор Уайлдблад. — Слишком больно не будет. — Он сделал укол, местную анестезию. — Вот так. Чудно. — Началось ощупывание, послышался звон мелкого стекла и металла. — Вот, — сказал он. — А сейчас возьмем несколько кубиков. Просто лежите совсем спокойно. — Эдвин почувствовал, как бы за несколько миль, глубокий укол, потом позвонок как бы глухо сломался. — Чудно, — сказал доктор Уайлдблад, — отлично пошло.

Эдвин чувствовал себя бесплотным, из него медленно вытягивали самую суть его существа. Он сказал, будто сделал важное открытие:

— Знаете, истинная проблема вовсе не в боли. Все дело в ощущении распада, сколь бы субъективным оно ни было.

— Не имеет значения, — проговорил доктор Уайлдблад, — не имеет значения. Отлично пошло. Уже почти кончено. — Эдвин краем глаза видел, как сестра держала наготове пробирку для анализа. — Хорошо, — сказал доктор Уайлдблад. — По-моему, все.

Эдвин слабо ощутил, как выдерживается игла. И спросил:

— Можно мне посмотреть? — Сестра тайком разрешила ему бросить быстрый взгляд на полную пробирку. — Похоже на джин, правда? — сказал Эдвин.

— На «Белый атлас» Бернетта, — неожиданно подтвердила сестра. — Хорошо идет неразбавленный.

— Ну, — сказал доктор Уайлдблад, — теперь просто лежите спокойно до завтрашнего утра. Спокойно лежите на спине. — И ушел, мягко кивая. От койки со скрипом откатали ширмы, и Эдвин лежал на виду у палаты, новый рекрут в бригаде лежачих.

— Потрясающе, чего нынче делать умеют, да? — сказал Р. Дикки.

Предписанный полный покой, приказ стать простым неодушевленным предметом неким образом освежал. Приятно также было знать, что вносишь вклад в однообразие палаты. Теперь не осталось ни одного неукоренившегося в клумбе цветка. Даже насмешник лежал, глядя в потолок, обманутый надеждой на распутывание клубка нервов. Но спокойный порядок не мог долго длиться. Прибыли крепко сбитые мужчины в шапочках и в униформе, чтобы забрать пациента в дальнем углу. Тот, явно неизлечимый, пуская слюни, отвечал на прощальные речи

урчанием, увозимый в кресле-каталке.

— До свидания, мистер Лезерс.

— Пока, приятель.

— Веселей, до новой встречи.

Пустота была быстро заполнена. Во время чая привели высокого мужчину ученого вида, он шел, как шагающая игрушка, одна нога не сгибалась, правая рука работала, будто держала венчик, взбивая яйца. Во время еды в оркестре ударных добавилась новая партия — тремоло ножа и чайной ложки.

После чая пришла палатная сестра с сообщением для Эдвина.

— Звонит ваша жена, — сказала она. — Говорит, простудилась немного и должна оставаться в постели. Вам, говорит, беспокоиться нечего. Придет завтра.

Прямо перед обедом вошел доктор Рейлтон, очень веселый.

— Привет, док, — бросил он Эдвину. — Сделан лабораторный анализ вашей жидкости. Я сверил результаты с другими, уже сделанными. Все повысилось. Дьявольски много белка. — Он потер руки. — Но мы продвигаемся. Выясним, в чем проблема. Выпустим вас отсюда здоровым. — И удалился с улыбкой, крепкий, здоровый трубочка.

У Эдвина посетителей не было. У Р. Дикки множество.

— Слышь, — сказал он маленькому мальчику, — пойди побудь добрым самаритянином вон для того джентльмена. Никто к нему не пришел. Стыдоба, да? Пойди с ним немножечко поговори, развесели чуточку. — Мальчик подошел к койке Эдвина сбоку, и вскоре был поглощен голыми журналами, подарком Чарли. Он сильно шмыгал, пытаясь вытереть нос простыней Эдвина.

После ухода визитеров Р. Дикки сказал:

— Славный пацан, нет? Никому хлопот не доставляет. В любой момент, — великодушно предложил он, — когда никто к тебе не придет, всегда у меня можешь взять. У меня ведь навалом. — Визитеров и виноград он считал вещами одного порядка.

Новому пациенту приснился кошмар.

— А-а-а-а! — кричал он в темноте.

Усмехавшийся сосед Эдвина извещал о свежих результатах футбола. Молодой человек, похожий на Панча, кашлял. Эдвин лежал без сна, думая о загадках слова «абрикос». «Априкок», на шекспировском языке; позднейший вариант возник благодаря смешению конечных согласных. «Априкок» восходит к арабской форме, где артикль «аль» слился с заимствованным словом «прекок», — ранний, рано созревающий фрукт.

Сколь очаровательна божественная филология. Но действительно ли она хоть сколько-нибудь ценнее ночного кошмара в углу, приснившихся результатов футбола? Шейла должна была навестить его, простуда или не простуда.

Глава 6

На следующий день Эдвин был препровожден вниз в подвалы на электроэнцефалограмму. Приятное ученое слово «электроэнцефалограмма» сводилось на табличке у дверей к зловещему хрипу из комиксов — «э-э-эгх...». Его встретила очередная крахмально-белоснежная девушка, приказав лечь на стол. Он небрежно спросил, что она понимает под средним термином «электроэнцефалограмма».

— Мы просто говорим ЭЭГ, — сказала она. Закрепила на волосах Эдвина сетку, воткнув под каждый узелок ватку, смоченную соляным раствором. — Иначе чересчур длинное слово. Не знаю, кому нужны такие длинные. — Она занималась приготовлениями, подключала Эдвина к своей машине, высунув очень красный кончик языка. Машина смахивала на консоль органа с циферблатами; изнутри с валика пианолы на мило тянулась бумага.

— Что она на самом деле *показывает*? — спросил Эдвин.

— Как бы электрические импульсы вашего мозга, — ответила девушка. — Не совсем понимаю, что с ними делают, но процедура именно для этого. Ну, теперь просто расслабьтесь. Когда я скажу, открывайте и закрывайте глаза, только не шевелитесь. — И уселась за консоль. Позади нее за стеклянной панелью неслышно мелькали техники, мужчина и девушка. Где аквариум, гадал Эдвин, с этой или с той стороны? Те двое поглядывали на него, как на *неодушевленный предмет*, смеялись своим шуткам, вместе вышли. Эдвин безотчетно разозлился так, как давно не злился. И сказал:

— Думаю, вы на самом деле не верите, будто мы вообще человеческие существа. Пара рентгеновских снимков, чертовы импульсы... виноват, извините за грубость. Я имею в виду...

— Если не возражаете, — вставила девушка, — мне надо работать.

— Правильно. Вам надо работать, и вы полагаете, будто работаете с чем-то инертным, пассивным. Позабыли, что я человек.

Девушка взглянула на него по-новому.

— Если вас мой вид возбуждает, — откровенно сказала она, — не смотрите. Можете в потолок смотреть.

Эдвин ужаснулся. Что же это тогда для нее — профессиональный риск, пережиток социального положения, некая поза, усвоенная в кино или по телевизору?

— Я совсем не то имел в виду, — сказал он. И, высказав опровержение, ощутил какое-то шевельнувшееся остаточное желание или желание желания.

— Мы здесь для того, чтоб оказывать помощь, — рассудительно молвила девушка. — Сделать вас снова нормальным. Теперь держите голову неподвижно, а глаза открытыми.

Что сказали бы доктора, размышлял он, если бы в нем опять вспыхнул секс, и он бросился бы, как сатир, на какую-нибудь цветущую белоснежную нимфу-техничку, овладев ей на ее же машине, откуда еще льется бумага с дико смазанными чернильными линиями? Фактически, предположил он, они были б довольны. Взглянул на девушку, следившую опущенным взором за неуклонно вытекавшим электроэнцефалическим графиком. Она на миг подняла глаза, встретила с Эдвином взглядом и снова чопорно опустила.

— Теперь закройте глаза.

Закрыв глаза, он сильнее ощутил биение в глазных яблоках, пульсацию крови. Кровь была еще молода. Попытался заполнить пустое пространство гаремом — томно раскинувшиеся бедра, пупки, соски, руки, — но не почуял реакции в чреслах, только чуть сжалось горло.

— Теперь откройте.

Эдвин, охваченный ненавистью, сорвал с девушки форменную белизну, разодрал цветные, скрытые под ней одежды, грохнул ее об стеклянную панель. Она чопорно смотрела вниз. Ничего хорошего не вышло: самый яростный воображаемый акт не вызвал никакой реакции. Он вздохнул — просто лежащая фигура в полосатой пижаме на жесткой лежанке, в смешной сетке с электродами на волосах, питающая машину.

— Не двигайте головой. Теперь снова закройте глаза.

Эдвин задумался о статейке, которую предназначал для журнала популярных исследований английского языка, — статья о билабиальных фрикативных звуках, столетиями присутствующих в разговорном английском. Разумеется, Сэм Уэллер не заменял «v» на «w» и обратно^[15], он использовал в обоих случаях одну и ту же фонему — билабиальный фрикатив. Но писатель вроде Диккенса, фонетически не образованный, думал, будто слышит «v», ожидая «w», и «w», ожидая «v».

— А теперь, — сказала девушка, — не открывайте глаза. Крепко закройте. Я сейчас пушу очень сильный свет. Постарайтесь держаться совсем неподвижно.

Казалось, руки в его мозгу тесно сомкнулись вокруг билабиального фрикатива, защищая его от всех этих людей с их белыми халатами, светом,

гудящими машинами. Затем последовала вспышка: резкий цветной узор выгравировался изнутри на веках, безобразный, в чем-то непристойный.

— Ох, Господи Иисусе, — сказал Эдвин, — это ужасно.

— Да? — бросила девушка. — Ну-ка, еще разок.

Снова четкий непристойный узор — конусы, кубы, шары зловещих цветов, которым он не смог подобрать определение. Гудение мотора смолкло.

— Хорошо, — объявила она. — Все. Теперь можете открыть глаза. — Загудела столь же немелодично, как аппарат, снимая с Эдвина сетку, собирая влажные соленые ватные тампоны. Потом с холодной индифферентностью разрешила: — Можете теперь вернуться к себе в палату.

Эдвин стоял в коридоре, трясаясь от трудно объяснимой злости.

— Сука, — выдавил он сквозь зубы, — сука, сука. — Но уже забыл девушку электроэнцефалографа. Непристойная вспышка как бы породила внезапную и весьма неожиданную ненависть к жене. Он чувствовал себя оскорбленным тем, что она сочла необходимым солгать, чтобы не оскорбить его чувств. Взглянул на часы у себя на руке: почти полдень. Надо ей позвонить, до конца разъяснить, что она вообще не обязана навещать его, если не хочет. Или, лучше: он будет весьма признателен, если она вообще перестанет его навещать. «Оставь меня, — хотел он сказать, — с моей болезнью и с моим билабиальным фрикативом». Потом понял, что, разумеется, вообще не сделает этого. Кроме того, предвидел утомительность поисков меди на телефонный звонок. Ну и ладно, решил он.

Она пришла в тот вечер, одна, сопя от подлинной простуды, и Эдвин сказал, неизбежно должен был сказать:

— Не надо бы тебе приходить.

— Я сама тоже так думаю, только мне показалось... ну, в конце концов, тебе не слишком-то весело лежать тут, никого не видя.

— Но ведь я хочу видеть не просто *кого-нибудь*, правда?

— Наверно. Ох, как мне хочется, чтоб все кончилось. — Слова выговаривала лихорадочно, словно ее несостоятельность по отношению к его болезни превосходила простое сочувствие любящей жены. И Эдвин подумал, что она безусловно посвящена в определенные тайны его болезни и прогноза. Шейла всегда с трудом хранила секреты: утрата свободной возможности разболтать все именно тому, кому меньше всех следует знать, была для нее мукой смертной; Эдвин связывал это с ее сексуальным непостоянством. И сказал:

— Если Рейлтон открыл тебе что-то, о чем меня не стоит ставить в известность... ну, ты меня вполне хорошо знаешь. Я все могу вынести. А секреты люблю не больше, чем ты.

Она нервно вскочила с койки.

— Я тебе уже сказала, — сказала она. — Ничего подобного, просто все будет хорошо, нечего волноваться, и все. Честно. — Взгляд умоляющий. — Наверно, — сказала она, — теперь мне действительно надо идти. Чертов звонок зазвонит с минуты на минуту, а я ненавижу, когда мне *велят* уходить.

— Но ты ведь только пришла. Еще полно времени.

— Слушай, — осторожно сказала она. — Ничего хорошего не получается. Я хочу сказать, все жутко неестественно. Нам фактически нечего сказать друг другу, и мы оба тайком поглядываем на часы. Правда? Такие вещи просто ненормальны, и я из-за этого дергаюсь. И ты знаешь, как я ненавижу больницы.

— Ты имеешь в виду, что не хочешь меня навещать, да?

— Ох, нет. Просто, пока ты тут, мне все кажется, будто это на самом деле не ты. Ведь так и есть, да? Ты больной. Как бы ждешь... понимаешь, о чем я? — как бы ждешь оживления. Кроме того, я терпеть не могу быть у всех на виду, и поглядывать на часы, и... это все неестественно. Поэтому, если не возражаешь, я не приходила бы каждый вечер.

— Ну, — медленно вымолвил Эдвин, — если ты в самом деле так это воспринимаешь. Знаешь, я понимаю, не думай. Может быть, — спросил он, — письма мне будешь писать?

— Да. Могу. Да, хорошая мысль.

— Хотя кажется глуповатой, не так ли, когда ты живешь всего в паре сотен ярдов отсюда.

— А, — живо подхватила Шейла, — в «Якоре» полно народу, который с большим удовольствием будет к тебе приходить. Чтоб тебе не было чересчур одиноко.

— Хорошо, если хочешь. Ты имеешь в виду, что мне следует ждать процессии колоритных бедняков, увеселяющих мое одиночество?

— Ну, такое предложение мило с их стороны, правда?

— А когда ты ко мне снова придешь?

— О, через несколько дней. В выходные. Пожалуйста, Эдвин, ничем меня не связывай. Знаешь, как я это ненавижу. Честно, скоро приду.

Глава 7

Для дальнейших анализов требовался не просто один оператор в белом халате, поэтому представилось больше возможностей для обращения с Эдвином как с неодушевленным предметом. Можно было обсуждать его, беспомощного на подвальном столе, или, при склонности к общению между собой, игнорировать. Анализы становились интимными и пытливыми, его чаще ощупывали, поворачивали, чаще журили его непослушные члены. Но когда он становился особо пластичным, податливым, поглаживали и трепали, возвышая до уровня домашнего животного.

Доктора хотели сделать ангиограмму. Сестра — розовый пудинг с алыми губами — ввела в ягодицу транквилизатор, потом Эдвина вкатили в лифт, повезли вниз. Радостные приветствия рентгенологов — женщин более зрелых, может быть, более непорочных по сравнению с теми, кого он знал прежде. Его перетащили на операционный стол под сопла и глаза рентгеновского аппарата; в ожидании доктора, которому предстояло вскрыть артерии, шли веселые разговоры и суэта.

— Я новый тубус вставила, Мейбл.

— О-о-о, хорошо-о-о. — Визг над головой Эдвина.

Эдвин видел перевернутые лица, без интереса глядевшие на него. Перевернутое человеческое лицо ужасно: слишком много отверстий; гораздо чудовищнее любого чудовища из космического пространства.

— И что она тогда сказала?

— Говорит, не собирается всю жизнь ждать, высматривать подходящего. Когда найдет, говорит, в любом случае поздно будет.

— Неужели надеется дожидаться подходящего? Ты ее прическу видела? — Презрительное фырканье.

Вверх ногами лицо не уродя,

А всякого данного представителя людского рода

Гораздо чудовищней, чем.

— Привет, девочки. — Доктор-канадец с острыми чертами лица, с густыми волосами *en brosse*^[16]. Молодой, явно более доступный простым смертным. — Это наш пациент? Привет, мистер.

— Доктор, — поправил Эдвин.

— Да? — сказал доктор. — Точно, я доктор. Ну, теперь я вам укольчик сделаю. — Он ухватил артерию справа на шее Эдвина, ввел анестезирующий препарат. Потом сел и стал ждать. Вошли еще два разболтанных молодых врача и присоединились к нему. Последовали дружеские приветствия, женские голоса стали громче, продвигаясь вперед по короткой женской дороге к истерике. *Hysterikos, hystera*, — матка. Фрейд, однако, продемонстрировал отсутствие связи, невзирая на этимологию.

— Как провел время в Италии?

— По-моему, нормально. *Molto buono*^[17].

— Посмотрите на эти гласные, — почти автоматически предложил Эдвин.

— Пили *vino*, пытались ухлестывать за *señoritas*. *Molto bella*^[18].

— *Señoritas* в Испании, — поправила какая-то женщина-рентгенолог, — а не в Италии.

— Все одинаковые, как ни называй, куда б ни поехал. Все женщины одинаковые, это доказано.

— Нет, не все, — провокационно заметила рентгенолог, — большое вам спасибо.

— Не за что, сестра. Ну, пора за артерию браться.

Маленькое подземное помещение казалось битком набитым людьми, перевернутые, сплошь окружавшие Эдвина лица давали веселые советы доктору-канадцу, старавшемуся ухватить увертливую артерию.

— Как живая, — сказал он. — Змея, или вроде того. А теперь, — обратился он к Эдвину, — у меня вот в этом шприце что-то вроде красителя, краситель из йода. Когда он начнет циркулировать, кровеносные сосуды окрасятся, и снимок покажет, где тут неполадки. О'кей?

Но артерия жила своей жизнью. Зачарованный Эдвин видел ее глаза, словно наблюдал за смертельной дуэлью маленьких разъяренных зверьков.

— Проклятье, — сказал доктор, — просто не могу попасть. — Затем прозвучал общий триумфальный крик, контакт свершился, артерия была проколота, краситель впрыснут. Юная леди в белом халате принялась холодными руками кормить артерию физиологическим раствором. Делались приготовления к рентгенографии.

— Вы почувствуете, — предупредила одна громкая женщина, — как бы жар со всей этой стороны. Очень сильный. Но не двигайтесь ни в коем случае.

Сбитому с толку Эдвину казалось, будто снимки связаны с сигнальными криками. С громким криком, похожим на «есть», становилось все жарче и жарче. Боль была как бы зеленого цвета, со вкусом окиси серебра; вдобавок неким синэстетическим чудом она как бы наглядно показывала мучительно перекрученные на мгновение нервы, стреляла в лицо, выдавливала глаза, вытягивала зубы холодными щипцами. И снова дело было не в боли: дело было в тошнотворном сознании, до чего извращенные ощущения прячутся в ожидании в теле.

— Вы молодец, — похвалила соляная девушка. — Правда. — Правую руку Эдвина мимолетно погладили. Перерыв. Теперь надо было проколоть другую артерию и ввести в нее краситель.

Удвоившись, несущественное стало существенным. Если сложить и опять развернуть бумагу с грубо ляпнутой кляксой, она превратится в узор, пусть по-прежнему грубый, но вполне читаемый. И при повторении процесса с другой стороны шеи Эдвину открылся незнакомый прекрасный образ. Анализ стал ритуалом. Извивавшуюся змеей артерию поймали, укротили, насильно накормили. Принадлежавший Эдвину предмет — голову — установили под парящими в воздухе механизмами, издавала донесся истерический крик, и вновь сочетание кислотного вкуса, зеленого цвета, — будто дерево изо всех сил голосило, — ощущение вырванного зуба и глаза.

— Хорошо, — сказали все. — Кончено.

Эдвина перетянули назад на каталку, покатали к лифту, вновь подняли. Мир никогда не меняется, чтоб приветствовать героя. Молодой человек с горбом Панча терпел побои и кашлял в подставленную плевательницу. Р. Дикки умиротворенно восседал королем на подкладном судне. Новичку с волочившейся ногой и взбивающей яйца рукой выбрили голову; он бродил по палате, волоча ногу, работая венчиком, в вязаной шапке с помпоном. Подошел к Эдвину, посмотрел на него сверху вниз сквозь толстые пучеглазые стекла очков, подрагивая седыми усами.

— Гест на вар вельш пурр? — спросил он.

— Пожалуй, что-то вроде того, — подтвердил Эдвин.

— Горш, — кивнул мужчина и, явно удовлетворенный, пошел из палаты к уборным. Р. Дикки сказал:

— Не говорит по-английски, как мы с тобой. В мозгах дело, понял? Как их ему вправят, сразу вспомнит королевский английский^[19], — хоть на самом деле надо было б сказать — королевин английский, нет? — не хуже меня, тебя, кого хочешь. Бедолага. Мистер Риджвей его звать; кое-какие улицы знает в округе, где я всегда работал. Названия не очень-то хорошо

выговаривает, но ясно, что к чему. Нынче утром стоял у меня возле койки, талдычил эти названия. Уважает меня, сразу видно. Потрясающе, да?

Проходил одурманенный наркозом день, Эдвин неподвижно лежал в койке. Вечером к нему явились двое визитеров. Одного он узнал, крупного мужчину с усами, изрыгавшего клич рога Зигфрида и крик «Nothung!». Зовут его Лес, вспомнил он. С Лесом была экзотическая женщина, на восприятие которой Эдвину потребовалось время.

— Письмо, — доложил Лес, — от вашей миссис. Попросила меня отнести. Синяков на шее немножко наставили, да?

Эдвин прочел:

«Милый,

пишу, как обещала, хотя, конечно, сказать особенно нечего. Надеюсь, с тобой все в порядке. Бородатый мужчина по имени Найджел, художник, ведет меня сегодня вечером в какой-то винный клуб. Постараюсь прийти в выходные. Будь умницей, дорогой.

Шейла».

— Очень любезно с вашей стороны, — сказал Эдвин. — Поистине очень любезно. Впрочем, знаете, на самом деле не стоило вам утруждаться. — Спутницей Леса была смуглая круглолицая женщина, явно средиземноморского происхождения, в синем джемпере, натянувшемся на выпиравшей тяжелой груди, в юбке с отштампованными названиями блюд: кебаб, ризотто, плов, чу-минь, нази горень. У нее были острые темные глаза, масса дроздово-черных волос и несметные бородавки. На горле вытатуирован таинственный знак. Эдвин ждал, что Лес ее представит, но тот сказал:

— Нынче вечером нечего делать, ну, думаю, вполне можно и сюда пойти, как в любое другое место. Вчера вечером «Зиг», завтра вечером — «Готт»^[20], а нынче делать нечего. Работа тяжелая, выходной нужен. Певцы все про себя талдычат, а я им говорю, пусть попробуют чертову Валгаллу на сцену выволочь, да все время помнить, где это чертово золото Рейна, чтоб опять его в воду швырнуть. Один раз пропало, искали, с ума сходили. Поэтому сняли меня с бутафории, снова бросили на всякую тяжесть. — С виду он вполне способен справиться с тяжестью, думал Эдвин, массивные дубовые плечи, шея мясницкой колодой, грудь — две литавры. Лес присел на край койки, дама осталась стоять, сложив руки, дымя сигаретой.

— Там, по-моему, — сказал Эдвин, — где-то есть стул. — Проблема заключалась в великом множестве посетителей у Р. Дикки: его койка смахивала на ложе умирающего Сократа.

— Кармен и постоять не прочь, — сказал Лес. — Кармен не настоящее имя, да я в первый раз ее встретил во время работы над оперой, показалось как-то подходяще. С декорациями настоящий содом — табачная фабрика, арена для боя быков, разбойничьи пещеры. Впрочем, не хуже «Аиды». Для нее весь Египет практически надо построить, пирамиды, Суэцкий канал и все прочее. Этот джентльмен, — заботливо разъяснил Лес Кармен, — болен. Поэтому мы пришли его навестить. — Кармен кивнула. — Она не очень-то говорит по-английски, — пояснил Лес. — Понимаешь, ее заманили сюда на работу из Северной Африки. — И подмигнул. — А я ее вытащил. Можно подумать, должна быть благодарна.

— Yo hablo Español, señora^[21], — сказал Эдвин.

Тогда Кармен заговорила, продемонстрировав в улыбке мешанину гнилья, голых десен, металла:

— Блин, слыш? Говорыт, как порабочный. Ты почему так не говориш? Только ругаешься чертовкой долбаной. Он говорыт сеñoра. Ты говориш чертова старая шлюха долбана. Почему не порабочно? Дэнь, два, тры не даеш денег. Я одын раз уйду. Найду, блин, порабочного. Вроде нэго.

— Немножечко бесится, что не замужем по-настоящему, — ровным тоном пояснил Лес. — Я ей говорю, не могу, только не в этой стране. Есть уже у меня одна в Гейтсхеде. В каком-то смысле хорошо иметь где-то еще одну. Тогда они на цыпочках ходят.

Кармен схватила какой-то голый журнал.

— Сучок ты, — сказала она, наградив Эдвина кариозной улыбкой. — Ох и сучок. — И, хихикая, быстро заработала рукой, как поршнем.

— Сейчас же прекрати, — приказал Лес. — Похоже, ничему не учишься. Тут Англия, а не Северная Африка. Мы тут цивилизованные. Дитя природы, — пояснил он Эдвину, — вот в чем ее проблема.

— Блин, я ничего плохого нэ сделала.

— Нет, мы знаем, что ты не хотела грубить, только всему свое время и место, девчоночка. В данный момент мы в больнице, навещаем джентльмена, с женой которого знакомы и которая, по твоим словам, тебе нравится. Ясно?

— Чьей женой? Его женой? У нэго есть женой?

— Да, да, та самая, что купила тебе двойной джин, когда ты станцевала фанданго. Ты еще волосы ей чесала.

— А, она? Черные волосы, нэ очень много. У мэня больше черных волос. Она тоже старая шлюха. С грэком танцевала.

— Не важно, кто с кем танцевал, — сказал Лес, — это их дело. И прекрати называть других женщин шлюхами или стервами просто из

ревности, — грубо рявкнул он. — Я тебя сюда привел познакомиться с уважаемым и образованным джентльменом не для того, чтобы ты оскорбляла его прямо в лицо. Мы навещаем больного, — растолковывал он. — Как говорится, общее благородное дело.

— Да, ты мэня обозвал шлюхой и стервой. Блин, слышу. Приведу тэбя домой, сполна чертэй получит, да. Ой, блин.

— Я не называл тебя шлюхой и стервой, — терпеливо, но громко сказал Лес. — Я говорю, не смей так называть других женщин, особенно жену этого джентльмена. Она леди, стало быть, повыше тебя.

— Говорыш, я нэ лэди? Ох, блин, сэйчас я тэбе покажу. — И замахнулась на Леса, но он небрежной рукой, — рукой, которая сокрушала Валгаллу и осушала Рейн, — схватил ее за запястье. — Сэйчас же пэрэстан, — страдальчески крикнула она. — Ох, блин.

— Ладно, тогда води себя чуточку лучше. Извиняюсь, — сказал он Эдвину. — Ясно, нельзя мне повсюду таскать ее за собой. — Эдвин видел, палата сильно интересуется псевдосупружеской ссорой. Он попробовал от нее отстраниться, отодвинувшись дальше на койке, но, соответственно, сама койка стала полем боя. Кармен пыталась кусаться. Лес говорил:

— Кусаешься, да? Кусаешься и царапаешься, как котенок, да? Скоро это прекратится, да, мой цветочек?

— Yo me voy saar...

— И таких испанских грубых слов нам не надо. Этот джентльмен знает, что они значат, он образованный, и у меня чертовски хорошее представление, хоть я и неуч. Неуч, вот как ты обо мне думаешь, правда, чернокожая моя красотка? — И вывернул ей руку, как турникет.

— Ох, блин, чертов шлюх долбаный.

— Может быть, это первое очень грубое слово почти годится, а последнее — нет, африканский мой горный цветик. Поэтому скажу спасибо, если ты заткнешь свою сладкую, грязную чертову пасть, поняла?

— Поняла, вот увидиш, нэ буду.

— Наверняка не будешь, — кивнул Лес. — *Нет*, право слово. А теперь я отсюда тебя уведу, пока тебя отсюда не выкинули. — Не видно было ни сестры, ни сиделки, но санитар-негр маячил, опасно нерешительный. — Мы тебя еще придем навестить, — посулил Лес, — если я научу ее хорошо себя вести.

Я эту проклятую первобытную дикость вышибу из нее, прежде чем она сюда снова придет, вот увидишь. — Настойчивее, но спокойнее, чем Хозе в опере, он выволок Кармен прочь. — Надеюсь, тебе лучше, — крикнул Лес из дверей.

Эдвин подумал, что, может быть, в конце концов, подобные делегации от Шейлы не слишком хорошая мысль. Когда все визитеры ушли, Р. Дикки общительно полюбопытствовал:

— Родня твоя?

А позже вошел доктор Рейлтон, массируя губы, и объявил:

— Знаете, вам после этих анализов надо спокойно лежать. Лежать спокойно, сохранять спокойствие, вот что вам надо делать. Я слышал, вы тут изо всех сил кричали, или что-то вроде того; так, по крайней мере, мне одна сестра сообщила. Не делайте этого, не возбуждайтесь. Вам потребуется каждая кроха сил, какая только найдется, прежде чем мы с вами покончим. — Он сел на койку. — Ну, мы все хорошенько взглянули на сегодняшние снимки. Мы думаем, там решительно что-то есть. Только надо полностью убедиться, заглянув чуть поглубже. Послезавтра мы собираемся вдуть вам в мозг сполна воздуху и сделать еще снимки. Они покажут окончательно. — Он по-мальчишески рассмеялся, хлопнул Эдвина по укрытому бедру. Потом пожелал доброй ночи и вернулся, по мнению Эдвина, к своей трубе. Труба, моя раба, вдуй в нее сполна воздуху.

Глава 8

— Думаю, — проговорил голос у него за спиной, — ощущение вам теперь уже вполне хорошо знакомо. — Эдвин с голыми ягодницами сидел у некоего позорного столба в другом подвальном помещении, с новыми, не столь кипучими нимфами в белых одеяниях по обе руки от него. Доктор уже представился психиатром, прибывшим сюда на две недели освежить неврологию в памяти; разговаривал профессионально успокоительным тоном. — Несколько кубиков, — успокаивал он, — спинно-мозговой жидкости. — Игла вошла глубоко, у Эдвина, как и прежде, треснул позвонок, на пол посыпались шишки и диски, как отброшенные на каком-нибудь пире героев куриные кости; повсюду разбрызгивался его жизненный сок. — Отлично, отлично, — одобрил доктор. Вскоре мелькнула пробирка со спинным джином. — А теперь восстановим баланс. Вытянув кое-что из вашего мозга, добавим туда теперь кое-что. Нечто вполне безвредное. Нечто, больнице ничего не стоящее. Воздух. Да, воздух. Воздух, как и полагается воздуху, поднимется из точки входа в мозг, свободно циркулируя. Потом за дело возьмутся вот эти прелестные дамы. — Медовые речи навевали на Эдвина сон, прелестные дамы, — он слышал и чувствовал, — жеманно улыбались.

Воздух вошел опасливо, проторил себе путь вверх в костном камине, тихими крокодильими шагами разошелся по никогда раньше не виданным коридорам. Эдвин вдруг ощутил сильную жажду и тошноту.

— Теперь сохраняйте полнейшую неподвижность.

— По-моему, — сказал он, — меня сейчас стошнит.

— Не стошнит. В. желудке у вас ничего нет, чем могло бы стошнить. Теперь просто не двигайте головой.

Тошнота прошла, но жажда осталась. Перед Эдвином возникали виденья пробитых лохматых коричневых грудей кокосовых орехов, кубиков льда, неуклюже позвякивающих в пинте джина с имбирным пивом, открытого крана на кухне, себя, к нему прильнувшего, набитого в рот снега, своих зубов, впивающихся в лимон. Щелк — снимок сделан. Хорошо, теперь другой. Щелк.

— Теперь мы перевернем вас головой вниз. Вы ощутите, как воздух внутри пузырится. Чувствуете? Полагаю, забавное ощущение.

Эдвин мог утверждать: его тело они отрицали. В определенном смысле пытались ворочать длинный неуклюжий росток картошки. Если бы только

была возможность временно, по возможности безболезненно оторвать голову, а потом приделать обратно какой-нибудь эпоксидной смолой. Воздух шипел во всех извилинах и завитках мозга Эдвина, дамы в белом, тяжело дыша, принуждали его открываться всевидящему оку. Щелк. И еще щелк. Это заняло почти все утро.

— Пару дней у вас будет довольно сильная головная боль, — предупредила одна дама. — Не надо слишком много двигаться.

— А что с воздухом? — Эдвину было безрассудно жалко заточенный в лабиринте воздух. — Можно его снова выкачать?

— Воздух, — сказали они, — абсорбируется.

И его вместе с воздухом прикатали в палату, где шла конференция клинических насмешников. Неподвижно лежа в койке, Эдвин слушал своего одетого в халат соседа и двух юнцов в пуловерах, явившихся из отделения терапии; общая для всех, застывшая сверхъестественная гримаса затрудняла их речи.

— Я хочу сказать, если б увидел тебя на улице, причем оба мы вот в таком виде, то подумал бы, ты меня передразниваешь, разве нет?

— Может, и наоборот, в зависимости от того, кто кого первый увидел.

— Смертный грех. Вполне можно массовку снимать в каком-нибудь фильме ужасов.

Эдвин вдруг ощутил, как его собственное лицо искажается и застывает в судорожной маске *un homme qui rit*^[22]. Левой рукой он ощупал по очереди обе щеки, потом потянулся к тумбочке за зеркальцем для бритья. Воздух в черепе и голова как бы раскололись. Он снова лег на спину, уверяя себя, что, если заговорит, из его собственного разверстого рта раздадутся такие же однообразные насмешливые гласные, какие он сейчас слышит. И вслух громко сказал:

— Ye Old Tea Shop^[23] — солецизм^[24]. «Y» ошибочно употребляется вместо англосаксонской буквы под названием «торн», соответствующей буквосочетанию «th».

Совещавшиеся умолкли. Юнцы в пуловерах сообщили, что лучше пойдут вниз на ленч. Эдвин знал: ближайшие соседи, прищурившись, наблюдают за ним. Ох, считают его сумасшедшим, и ладно... В любом случае, губы по-прежнему движутся, могут как округляться, так и растягиваться; по крайней мере, это установлено.

Очередной длинный зевок дня, гигантского рта, куда впихнута безрадостная еда. В период для посещений приковылял человечек в старом мешковатом костюме. В руках у него был клочок бумаги. Он сунул его

дежурной по палате итальянке, выносившей хризантемы.

— Il dottore^[25], — сказала она без насмешки, указав на койку Эдвина. Мужчина приковылял, не сняв шапки.

— Велела пойти, — сконфуженно сказал он. Он был моложав, несмотря на морщины; резцы и клыки как бы цельным клином высывались изо рта. — Она. Велела пойти.

— Очень, очень любезно с вашей стороны, — сказал Эдвин.

— В обед в щелкушку меня обыграла. Никак не думал, что она обыграет, а у меня и на пинту при себе не было. Ну и не смог ей поставить. Ну и она вместо этого велела мне сюда пойти. — Стоял все так же сконфуженно, но взгляд был внимательным. Бледно-голубые глаза твердо смотрели в пустую противоположную стену.

— Не надо оставаться, если не хотите, — сказал Эдвин.

— Надо. По-честному. Она же в щелкушку меня обыграла. — Возникла долгая пауза.

— Как ваше имя? — спросил Эдвин, уверенный, что у этого человека нет реального имени.

— Хиппо.

— Хиппо? Почему вас так зовут?

— Вот так зовут. Хиппо.

— По-моему, на самом деле довольно почетное прозвище. Вы когда-нибудь слышали о святом Августине из Гиппона?

Сконфуженно стоявший мужчина перевел на Эдвина несколько оживившийся взгляд и сказал:

— Забавно, что вы это сказали. Прямо тут за углом школа была. Блажного Гастина. Мы все их колотили немножко по пути домой. Хоть и недолго тут прожили.

— Да?

— Долго кочевали все с места на место, с места на место. Старик мой был очень крутой. Душу ко всем чертям выколачивал из нас, из ребятишек. Поэтому я сейчас не умею ни читать, ни писать. А это никуда не годится.

— Чем вы на жизнь зарабатываете?

— Знаете, что подвернется. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Прямо сейчас немножечко доски на себе таскаю. Рекламные. Одна впереди, другая взади, как бы вроде сэндвича. Хоть и не знаю, чего на них написано. Должно быть чего-то.

— Да, я понял, о чем вы.

— Ну, вот так оно и есть.

— Конечно. — Еще одна очень долгая пауза. Эдвин сказал: — День у

меня был довольно тяжелый. Хотелось бы поспать. Можете теперь идти, если хотите.

— До конца продержусь. — Он снова угрюмо сконфузился.

— Не нужно, если вам не хочется.

— Она велела, надо.

— Ясно. Но я все-таки постараюсь заснуть.

Эдвин лег на бок, следя сквозь ресницы за добросовестным человечком. Однако притворный сон превратился в реальный: надо было избавиться от тупой головной боли. Когда он проснулся, все визитеры давно ушли. Заинтересовался, который час, страдальчески взглянул на крышку тумбочки, где обычно лежали часы. Часов там больше не было. Странно. Он сел и еще посмотрел. Забеспокоился по-настоящему, — часы были подарком Шейлы, дорогим подарком, — открыл два ящика тумбочки. Трудно вести поиск в горе полотенец и сброшенных грязных пижам, оставаясь в постели. Эдвин начал очень осторожно вставать. В мозгу колыхался воздух, мучительно колотилась боль. Встав на колени, обыскал оба отделения тумбочки, искал под тумбочкой, за тумбочкой. Никаких часов. Ну, поделом же ей, черт побери. Это ведь ее идея, не так ли, присылать сюда странных, встреченных в барах личностей с дурной репутацией, жуликов, прелюбодеев, возможно убийц. Теперь боль в растревоженной голове стала почти невыносимой. Эдвин как раз карабкался обратно в постель, когда весело вошел доктор Рейлтон.

— Всегда готовы нарушить приказ, да? — сказал доктор Рейлтон. — Я порой удивляюсь, как вам удалось получить степень доктора. — Явно больная тема для доктора Рейлтона, бакалавра медицины, бакалавра хирургии. — В конце концов, дело элементарного здравого смысла — по возможности избегать боли.

— Часы, понимаете ли. Я искал свои часы.

— Часы ваши сейчас не имеют значения. Нам надо поговорить о более важных вещах, чем часы. Пожалуй, лучше загородимся ширмами. — И со скрипом подтащил загородки на колесиках к койке, где теперь снова лежал Эдвин, сотворив порочную ненадежную уединенную комнатку.

— Вы сейчас, разумеется, не собираетесь что-нибудь делать? — сказал Эдвин.

— Сейчас нет. Хочу рассказать вам о результатах проведенных анализов.

— Да?

— Там точно что-то есть. Вполне подтвердилось. И нам теперь точно известно, где именно.

— Но что?

— Что — не важно. То, чего быть не должно, вот и все. Это все, что вам надо знать. То, что должно быть удалено.

— Думаю, опухоль, — сказал Эдвин. — Думаю, именно так вы сказали моей жене. Не следовало бы доверять ей секреты. Это нечестно. Почему вы мне не могли сказать?

— Зачем вас тревожить без надобности? На самом деле, не стоит тревожиться из-за этого. Операция довольно простая.

— Предположительно злокачественная?

— Я так не думаю. Разумеется, никогда точно не знаешь, но я так не думаю. Обыватель, — сказал доктор Рейлтон, нажимая на одеяле на воображаемые клапаны трубы, — обыватель склонен к эмоциональной реакции на медицинскую терминологию. Рак, гастрит, злокачественная опухоль. Просто поймите: у вас в голове то, что ничего хорошего не приносит, и удалить его можно быстро, просто и безболезненно. Мне очень жаль, — сказал доктор Рейлтон, — что пришлось обременить нашими подозрениями вашу жену. Она принадлежит к очень эмоциональному типу. Но дело в ее разрешении на операцию, если в операции возникнет необходимость.

— Вы получили ее разрешение?

— О да. Она очень о вас заботится, очень хочет, чтоб вы снова поправились.

— А как насчет моего разрешения?

— Ну, — сказал доктор Рейлтон, — понятно, нельзя затащить вас в операционную под вопли об отказе от операции. Вы достаточно разумны, у вас есть право выбора. Но по-моему, вы уясните, что в самых лучших ваших интересах сказать да.

— Не знаю, — сказал Эдвин. — В действительности я не слишком плохо себя чувствую, не считая обмороков, не считая других неприятных вещей, секса, всякого прочего. У меня такое ощущение, что я как-нибудь проживу без того, чтобы кто-то копался в моей голове.

— Невозможно быть слишком уверенным в этом, — сказал доктор Рейлтон, по-прежнему нажимая вибрирующими пальцами клапаны трубы на постели. — Вы в опасном состоянии, я бы сказал. Стоит также вопрос о продолжении вашей работы в Бирме.

— Я могу отказаться от этого.

— Придется где-то другую работу искать. Это будет нелегко. И помните, вам неуклонно будет все хуже и хуже.

Эдвин минуту подумал.

— Нет сомнений в успехе?

— Всегда есть какие-то сомнения. И должны быть. Но шансы на успех операции преобладают. Сто к одному, я бы сказал. Когда все кончится, станете другим человеком, вообще совсем другой личностью. По-настоящему будете нас благодарить.

— Другим человеком? Человеком с другой личностью.

— О, не фундаментально другим. Скажем, здоровым, а не больным.

— Ясно. Ладно. Когда?

— В следующий вторник. Хорошо, — одобрил доктор Рейлтон, — молодец.

— Допустим, я до того передумаю?

— Не надо, — серьезно посоветовал доктор Рейлтон, — не надо, что бы ни было. Верьте мне, верьте мне. — Он поднялся, опустив руки, мужчина, которому следует верить, но чересчур смахивал на трубача в танцевальном оркестре, опустившего инструмент, чтоб заняться вокалом.

— Ладно, — сказал Эдвин. — Верю.

Глава 9

Воскресным днем пришла Шейла, лишь немного навеселе, таща за руку упиравшегося бородатого юношу. Она выглядела моложе, красивей, умело покрашенная, в распахнутой бежевой шубе из опоссума поверх нового мохерового платья.

— Милый, — вскричала она, — милый, милый.

— Извините, — сказал Эдвин, — что не встаю с постели здороваться. Внутри все еще гудит воздух.

— Ох, — сказала Шейла, — вы, конечно, незнакомы. Странно, правда? Найджелэдвин. Эдвиннайджел. Я уверена, вы ужасно друг другу понравитесь, если будет возможность как следует познакомиться.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Слушай, — сказал Эдвин, — тот жуткий человечек прихватил мои часы. Тот, которого ты обыграла в щелкушку, тот, что назвался Хиппо.

— Да? Досадно. Я с тех пор его не видела, и вообще никто. Он повсюду расхаживает, носит щиты, как сандвич, вовсе не завсегдатай «Якоря». Ты дурак, Эдвин. Слишком доверчивый, вот в чем твоя проблема. Надо другие тебе раздобыть, правда? Хорошо, хоть те ничего не стоили.

— Ничего?..

— Я их у Джеффа Фэрлава забрала. Ну, ты помнишь. Пригрозила, чтобы он отдал. Тебе в подарок.

— А как, — уточнил бородатый Найджел, — ты сумела ему пригрозить? То есть какая у тебя над ним была власть? — Эдвин про себя усмехнулся этому робкому проблеску ревности. Найджел был молодым человеком, неопытно старавшимся выглядеть не столько старше, сколько лишенным возраста, — лишенный возраста гривастый бородатый художник.

— Моя краса, — объяснила Шейла с гласными кокни, — бесконечная привлекательность. Ни один мужчина не устоит, когда я заставляю. — Художник серьезно кивнул. — Сегодня, — объявила Шейла, — Найджел собрался меня рисовать. Не писать, рисовать. Я так рада, милый, что все, наконец, улажено. Какое будет облегчение, когда все это кончится. Ты сам должен радоваться.

— Значит, тебе сообщили, да?

— Внизу в вестибюле встретился тот самый Рейлтон. Сказал, что

будут оперировать и что все будет в полном порядке. Какое облегчение.

— Облегчение, что секрет больше хранить не придется?

— И это тоже, — улыбнулась она. — На зиму сможем в Моламьяйн вернуться. Знаешь, ненавижу холод, — доложила она Найджелу. — Надеюсь, у тебя в квартире тепло.

— Будь я художником, — сказал Эдвин, — мне хотелось бы написать вид Моламьяйна с воздуха при посадке. Красота и практичность. Одни рисовые поля разных форм и размеров, ни один квадратный дюйм не упущен, большой коллективный артефакт, в поле зрения ничего человеческого или даже природного. Но это, по-моему, нелегко было бы написать.

— Писать все нелегко, — сказал художник. В его голосе слышалось индюшачье кулдыканье. — Поверьте мне на слово, живопись — абсолютный ад. Поэтому я ей занимаюсь.

— А кто из современных художников больше всего вам нравится? — спросил Эдвин.

— Очень немногие. Поистине, очень и очень немногие. Шагал, пожалуй. Дон Кингмен, пожалуй. Еще один-другой. — Вид у него был мрачный.

— Не имеет значения, — вставила Шейла. — Не надо так волноваться. Все будет в полном порядке. — Она ободряюще улыбнулась ему, похлопала по руке. Он был в очень тесных штанах. — Найджел, — сказала она, — действительно очень хороший художник. Когда ты поправишься, обязательно должен увидеть некоторые его вещи. Очень эффектные.

— Не произноси это слово, — рявкнул Найджел. — Они не эффектные. Самое что ни на есть распроклятое слово, какое можно подобрать. — Он повысил голос. «Опять шум», — вздохнул про себя Эдвин. Полк визитеров Р. Дикки заинтересованно озирался в уверенности, что у койки Эдвина всегда найдется чем так или иначе развлечься. — Назвать их эффектными значит свести на уровень, на уровень, на уровень киноафиши. Дьявольски оскорбительно. — Визитеры Р. Дикки кивнули друг другу, довольные исполнением обещанного.

— Хорошо, — сказал Эдвин. — Тогда скажем, они не эффектные?

Найджел испепелил его взглядом.

— Вы ни одной не видели, — заявил он. — Вообще не в состоянии о чем-либо судить.

— Ты должен помнить, Найджел, — резко сказала Шейла, — что разговариваешь с моим мужем и что мой муж очень болен. Не надо мне скандалов по поводу твоего искусства. — Найджел насупился. — Так-то

лучше, — заметила Шейла. — И, Найджел, не забывай о своем обещании.

— О каком обещании?

— Настоящий художник, — воскликнула Шейла. — Все берет, ничего не дает. О твоём обещании насчет стирки для Эдвина.

— А.

— Найджел, — объяснила Шейла, — очень везучий мальчик. К нему еженедельно приходит венгерка, которая ему стирает. В обмен на уроки английского.

— Что он понимает, — спросил Эдвин, — в преподавании английского?

— Он учится, — сказала Шейла. — Обучается на практике. И обещал отдать в стирку все твои грязные вещи. Где они?

— Очень, — сказал Эдвин, — любезно с его стороны. — Ему все больше надоедало разговаривать в духе мистера Солтины, но что еще можно было сказать? — Вот эта тумбочка набита грязными пижамами, полотенцами и так далее, а в большом шкафу снаружи рубашка.

— Хорошо, — заключила Шейла, — мы пойдем прямо к Найджелу на квартиру, в студию, или как он там ее называет, и возьмем с собой все эти вещи.

— Лучше нам уже идти, — сказал Найджел. — Вспомни, я не полдничал.

— Но ведь завтракал.

— Это было давно.

— Когда я была маленькой девочкой, — сказала Шейла, — всегда верила, что художники голодают. *La vie de Bohème*^[26].

— В первых двух актах оперы без конца едят, — напомнил Эдвин.

— Ох, да, — спохватилась Шейла, — ты мне напомнил. Лес и Кармен снова придут навестить тебя нынче вечером. Я, конечно, не смогу. Кармен придет извиниться.

— Нет, — неистово вскинулся Эдвин. — Я очень болен. Не могу принимать посетителей. Пожалуйста, так им и передай.

— Мы с ними не встретимся, правда, Найджел? Так что тебе просто придется смириться. У Леса довольно странная жизнь, да?

— Пожалуй, — согласился Эдвин.

— Да. Рано по утрам работает в каком-то пабе на Ковент-Гардене, а по вечерам в оперном театре. По-моему, правильно, — единство места и чего-то еще. А в оставшееся время занимается Кармен. Ты должен уговорить его рассказать, какие она порой вещи проделывает.

— Пошли, — сказал Найджел. — Поест надо.

— Да, — продолжала Шейла. — Ужасно эксцентричная. Давали «Самсона и Далилу», она пошла посмотреть, через пару дней они чуточку поскандалили, он среди ночи проснулся и видит, она с ножницами стоит у кровати...^[27]

Найджел вдруг очень пристально взгляделся в Эдвина.

— Не знаю насчет ваших мозгов, — сказал он, видно на время забыв о еде, — стоит ли их спасать. А вот что касается головы, хорошая голова. Голова, — продолжал он с художнической беспристрастностью, — лучше, чем у нее. Я бы не прочь сделать. Пожалуй, лучше вашу голову сделал бы, чем ее, хоть тело у нее, — конечно, с моей точки зрения, — гораздо интересней. И конечно, вы скоро останетесь без волос.

— Не скоро еще, — сказал Эдвин. — В нашей семье преждевременно не лысеют.

— Да нет, — сказал Найджел. — Если вам мозги собираются оперировать, должны волосы сбрить. Пожалуй, тогда и возьмусь. Получится очень хороший, довольно оригинальный этюд. Маслом, пожалуй. Тропически коричневое лицо и что-то вроде перламутрово-розового... Хорошо бы попробовать.

Эдвин побледнел от ужаса.

— Знаете, — вымолвил он, — я ведь просто не понял. Просто не подумал об этом.

— Плевать, — сказала Шейла. — Опять отрастут, очень быстро. И все будет прямо наоборот, чем с Самсоном, да?

— Что ты имеешь в виду? — спросил Эдвин.

— Угадай, дорогой. Слушай, — обратилась она к Найджелу, который вытащил блокнотик для рисования, набрасывая с Эдвина подготовительные этюды. — Ты внушил мне мысль о еде. Пошли поедим.

— Хорошо, — сказал Найджел. — И не забудем забрать вещи в стирку. — Под обличем художника скрывался добрый молодой человек. Он набрал охапку носков, белья, пижам из шкафчика у койки, сморщив курносый нос в слабом намеке: *ça rue*^[28]. И они пошли за грязной рубашкой в наружном шкафу для верхней одежды и чемоданов. Потом Шейла весело заглянула, размахивая рубашкой, послала поцелуй, который заодно охватил Р. Дикки и насмешника, сияюще, любяще, сардонически улыбнулась Эдвину и исчезла.

— Миссис твоя прям картинка, — сказал потом Р. Дикки.

Сразу перед обедом Эдвин сообщил палатной сестре, что не очень хорошо себя чувствует для приема посетителей, и попросил загородить

койку ширмами, что и было сделано. Санитар-негр в процессе разглаживания простыней нашел предварительный набросок, брошенный Найджелом. По мнению Эдвина, он свидетельствовал о малом таланте.

— Он что, умирает, вон тот? — слышался вопрос, заданный громким, трепещущим от возбуждения шепотом одним из посетителей Р. Дикки.

— Не, — шепнул в ответ Р. Дикки. — По-моему, миссис немножечко его расстроила, вот и все. То есть если это его миссис. — Последовало более тихое спекулятивное шушуканье.

Глава 10

— Это, дружок, называется расчистить стол для работы. — Негр-санитар, каждой частичкой кожи излучая свет, преломляя свет в линзах очков, фыркнул над смелым образом и стал возиться с лотком инструментов. Рядом с ним стоял подмастерье, высокий мрачный итальянец, только что поступивший на службу, которому он разъяснял названия инструментов.

— Ножницы.

— Si^[29].

— Машинка для стрижки.

— Si, si.

— Электробритва.

— Si, si, capito^[30].

Видно, у Шейлы не было времени на письмо, тем паче на визит, но она прислала телеграмму: *удачи буду думать о тебе люблю*. Прежде Эдвин получал подобные послания в коммерческих отелях незнакомых городов в канун собеседований относительно новой работы. А теперь готовился к путешествию на последний рубеж бытия, откуда еще можно вернуться обратно. Паломничество, но на него наденут тюрбан до того, как в поле зрения появится Мекка. Негр принялся за работу. Беспечно мыча, натянул резиновые перчатки, потом приказал:

— Ножницы. — Ножницы были ему вручены. Начали падать завитки волос.

— Как вас зовут? — спросил Эдвин.

— Пожалуйста, будьте добры меня не отвлекать, — сказал негр. Но по мере дальнейшего падения прядей смягчился. — Если вам надо знать, мистер Саути меня зовут. *Мистер*, — подчеркнул он, как бы умаляя тем самым собственный титул Эдвина, — как мистер Бегби, выдающийся специалист.

Продолжалась быстрая осень, плавно кружащийся листопад коричневых пучков и колец.

— Очень нехорошая перхоть, — объявил специалист. — Так вы все волосы потеряете. — Итальянец пристально следил за каждой деталью операции, часто кивал, демонстрируя отличное понимание происходящего, несмотря на языковой барьер. Эдвин начинал ощущать прохладу, легкость, сходство с агнцем. — Машинку, — потребовал мистер Саути.

Новое, волнующее ощущение, непривычная развязность с приближением полной наготы. Волосы падали целым Кораном арабских букв, смешавшихся с учебником Питмана^[31]. Мистер Саути широкими энергичными взмахами вел свой стрекочущий инструмент к куполу, который тридцать восемь лет прятал свои очертания, не пропуская к ним воздух. Сознавая свои достижения, он запел. А на середине куплета сказал:

— Бритву.

Настала финальная стадия депиляции. Итальянец приоткрыл рот, слегка задыхаясь. Бритва раздраженно жужжала, в негритянской песне нарастало ликование. Вскоре песня смолкла в деловой паузе на тщательный осмотр — одинокое ж-ж-ж тут, короткий круговой пассаж там, — и, наконец, скульптура готова.

— Хорошо выглядит, просто прекрасно.

— Bello^[32], — подтвердил итальянец.

— Обождите, — сказал мистер Саути, — зеркало принесу.

— Нет-нет, — сказал Эдвин. — Нет, нет, нет. — Пробежался по скальпу боязливymi пальцами, ощупывая, скользя. — Ради бога, закройте.

— Каждый ценит, — изрек мистер Саути, — небольшую оценку своего труда. Нечего тут просить. Вы должны взглянуть в зеркало.

— Слушайте, — сказал Эдвин. — Я не хочу это видеть, не хочу ничего знать об этом. Просто прикройте.

— Неблагодарность, — заключил негр. Принес шерстяную шапочку, которая плотно наделась. Тогда Эдвин рискнул взглянуть в зеркальце для бритья. И увидел маленького Эдвина в коляске — маленького Эдвина с фотографии, которую его мать велела вставить в рамку для гостиной, — но маленького Эдвина с острым недоверчивым взглядом, вторым подбородком и отросшей за день щетиной. Со звоном бросил зеркальце обратно на тумбочку, неподвижно замер в койке. Итальянец сметал кучу волос, целый пол парикмахерской; негр откатывал ширмы. Теперь, наконец, Эдвин чувствовал себя полноправным членом клуба лежащих паломников.

Вошла сестра, сделала круг, спросила уютным манчестерским тоном:

— Хорошо спите?

— Вполне, — сказал Эдвин.

— Э, не очень-то убедительно. Лучше обезопаситься. Нам надо, чтобы завтра утром вы были послушным, одурманенным, полумертвым, если вы понимаете, что я имею в виду. — И высыпала из пузырька щедрую горсть таблеток. Эдвин запил их водой.

И скоро заснул. Сны были многоцветные, стереоскопические. Три

больших пса, таившиеся в лесу, через который он шел, обернулись кольцами питона. Эдвин улыбнулся во сне: это означало секс. Он падал в колодец за колодцем за колодцем. На дне одного колодца нашел, чего ожидал: крупных ползающих, насекомых, ожившую иллюстрацию из «Панча» за 1860 год, разбитую мраморную голову из фильма Кокто, монотонно повторявшую слово *habituel*^[33]. Он сидел на песке Брайтона, окруженный улыбающимися людьми, отчаянно стараясь спрятать свои голые ноги. На дне последнего колодца была только тьма, никаких больше образов.

Глава 11

Эдвин очнулся с автоматической внезапностью, без всякого намека на грань между мертвым сном и полным бодрствованием. Даже сел, полностью сознавая, где находится и зачем. О времени представления не имел, но стояла полная ночь, Лондон купался в бриллиантовом свете полной луны. Очнулся он с весьма четкой, лихорадочно острой решимостью, понимая, что подобная острота, несомненно, связана с большой дозой снотворного: никто не вскрыет ему голову, не будет никакого удаления никакой опухоли, он должен жить — пусть недолго — и умереть — пускай скоро — таким, каков есть, больным или здоровым. Фактически он замечательно хорошо себя чувствует.

Так или иначе, смерть находилась в больнице: слышался ее хрип в палате. Жизнь была снаружи. Он должен сейчас же уйти. Ведь если вернуться ко сну, утренняя сонливость, возможно, притупит намерение; слишком со многим придется бороться; в ягодицу накачают еще более мертвого сна, прежде чем он соберется с мыслями; прикажут здоровому мужику укатить его в операционную. Тогда будет поздно. Надо сейчас.

Ночная сестра сидела за слабо освещенным столом, огороженная хрупкими степами ширм. Он знал, это девушка-американка, приехала по обмену на год. Из Миссури или еще откуда-то.

Каким же он был дураком распроклятым, веря доктору Рейлтону и всем прочим. Он уже для них неодушевленный предмет, и таким же предметом останется, скончавшись под наркозом: какая жалость, доктор Прибой превратился просто в кусок морфологии.

Койка скрипнула, когда он из нее вылезал. Ощупал голову, по-прежнему в шерстяной шапке: вязаная шапка будет выглядеть во внешнем мире дьявольски глупо. Плевать. Существуют шляпы, парики, правда? У сестры был острый слух. Она выглянула, потом тихо, быстро направилась к Эдвину.

— Что с вами? Хотите чего-то? — Хорошенькая девушка, униформа к лицу, медсестра из кинофильма. Голос богатый.

— Просто хочу выйти в...

— Ах. Не надо, лучше я судно вам принесу. — Благодаря ее акценту ненавистное слово, обозначающее неуклюжую неподатливую вещь, окрасилось оттенком иронии. В американских фильмах этого слова никогда не услышишь. Две гласные стянулись и удлиннились: соудноу.

— Нет, — сказал Эдвин. — Лучше... знаете, я не так слаб.

— О'кей. Наденьте халат. — Луна сполна освещала ее прелесть. Почетно находиться под ее руководством, богини из фильма. А сейчас ей грозят неприятности. Эдвин чувствовал жалость к ней, но и не только жалость. — Не слишком задерживайтесь, — предупредила она.

— Может быть, — оговорился Эдвин, — дело окажется довольно долгим, если вы понимаете, что я имею в виду. — Сделал паузу, прежде чем перейти к ложным клиническим деталям. — Съел чего-то, — пояснил он.

— О'кей, о'кей. — И она вернулась к своему усеченному свету. Дрожа от возбуждения, Эдвин быстро потопал прочь.

Открыл стальную дверь коридорного шкафа напротив ванных комнат и вдруг осознал, скольких личных вещей лишился за последнюю неделю: часы, нижнее белье, волосы. Осознал: ни носков, ни рубашки, все в квартире у Найджела, венгерка должна выстирать. Он замерзнет: ни пальто, ни дождевика, то и другое отброшено перед поездкой в Бирму. В большой спешке понес в ванную галстук, куртку, брюки. Обязательно не забыть на сей раз туфли. Все надел на пижаму. Полосатая, довольно грязная пижама не совсем сходила за рубашку. Он нахмурился в зеркало. Заправил галстук под воротник, завязал. Вид вверх от плеч, мало сказать, эксцентричный. Голым ногам было холодно в туфлях, и Эдвин поежился. Сделал паузу. Решиться на кражу? Шкафы не запирались. Были другие вещи — рубашки, возможно, пальто. А потом решил: нет. Совершение преступления, даже мелкого, пошло бы им на руку. Подобные мелкие кражи припишут kleptomании, составной части комплексного синдрома, — очень больной человек, вообще не отвечает за свои поступки.

Денег совсем мало (потом он их пересчитает), и ничего пригодного для заклада или на продажу. Заметил, что саквояж из шкафа забрали; разумеется, вполне логично, надо же было Шейле с Найджелом в чем-то нести вещи в стирку. Во внутреннем кармане куртки нашел документы, несомненно, сунутые туда в связи с превращением саквояжа в сумку для грязного белья; нащупал корочку докторского диплома. За каким дьяволом он привез его с собой? Должна быть, подумал Эдвин, какая-то причина. Но сейчас нет времени над ней гадать. Сначала надо выбраться.

Благословляя резиновые подметки, он опасливо прокрался к тяжелой двери-турникету, которой пользовались и мужское и женское отделения. (Но сама эта двойственность и называется отделением; что ж тогда, каждое из них в отдельности подотделение, полуотделение, или что?) Он был уверен, что не производит ни звука, имевшего смысл для того, кто лишен

подозрений. На площадке за дверью обнаружил загробный свет синей лампы. Ни одного окна, куда могла бы заглянуть луна. Синие сумерки сопровождали его при спуске по первому лестничному пролету, на нижней площадке опять синий свет, и так далее, на всем пути вниз. Эдвин быстро добрался до первого этажа. Тут должны были начаться настоящие трудности. Коридоры темны, темнота наделяла бюсты великих покойников поддельной жизнью — они ухмылялись, подмигивали, улыбались, прикидывались соучастниками. Последний коридор вытекал в вестибюль, где стоял ночной привратник, вовсе не сонный, читал объявления на доске объявлений. Пройти мимо него невозможно. Кроме того, нет никакой гарантии, что наружная дверь будет не заперта. Эдвин увидел время на часах в вестибюле — без двадцати пять, — и автоматически попытался подвести свои часы. Чертов Хиппо. Он притаился в тени коридора, раздумывая.

Есть, конечно, подвалы. Боже мой, разве ему неизвестно о существовании подвалов? Вдобавок известно, где лестница, — грязная, не клиническая, — ведущая, кажется, в эти подвалы: примерно через коридор позади. Эти самые лестницы стали простым придатком, аппендиксом, никому не нужным органом; для спуска в камеры пыток был лифт. Эдвин отступил назад в тень и отыскал утробно скрипевшую лестницу. У ее подножия обнаружил закрытые двери столовой и кухни. Разумеется. Он позабыл. Здесь не один подвальный этаж. Он увидел окно, куда косо светила луна; за ним убожество мусорных баков; рядом с окном дверь. С надеждой толкнул, но она была заперта. Тогда попробовал окно. Нижняя задвижка скользнула, открылась; удастся ли дотянуться до верхней? Эдвин оглянулся — ящик, стул, на что можно встать? Как ни удивительно, в углу маячила складная лесенка того типа, который раскладывается в неуклюжий кухонный стул. В мозгу за клубились сомнения. Не ловушка ли это? Не предвидели ли они со своим долгим опытом работы над головами, что он попытается выбраться, попробует сбежать? Не всегда ли так бывает в канун операции под влиянием определенного типа снотворных? Не считается ли полезным позволить пациенту дойти досюда, облегчив клаустрофобию, прежде чем любезно, с юмором, препроводить его обратно в койку? Не поджидают ли сейчас снаружи доктор Рейлтон и прочие, может быть сам мистер Бегби? Он поднял лесенку, понес к окну. Взобрался, легко открыл верхнюю задвижку. Окно мягко отворилось, и в него кошкой юркнула тихая осенняя ночь. Эдвин ощутил запах свободы и лондонской осени — гниль, дым, холод, моторное масло. Все было очень легко. Он вылез, спрыгнул на площадку с высоты нескольких футов. Бесшумно пробежали две кошки, но

третья с грохотом прыгнула на крышку бака. Стояла ограда из острых прутьев, с такими же воротами. Ворота были заперты на висячий замок, но перелезть оказалось нетрудно, — ногу на мусорный бак, ногу вверх, и он спрыгнул на улицу. Досаждала дыра на брюках, но не слишком серьезно. Шейла зашьет.

Нельзя себе позволить болтаться на улице. Может идти на смену сестра, санитар, которые его знают: Эдвин имел смутное представление о времени начала смены. Может выйти на лестницу ночной привратник под видом любителя-селенолога, высматривая Море Бурь и Море Спокойствия. Полисмен может что-нибудь заподозрить. Он пошел по касательной от круглого фасада больницы, огибая ограду площади, нашел боковую улочку с магазинами, с подлинной тюдоровской пивной, с древними ответвлявшимися от нее переулками. Там, думал он, он будет в безопасности, выждет нужное время, пока не окажется среди приличных людей. Сейчас, по прикидке, почти пять.

Слава богу, что он потрудился запомнить название отеля Шейлы. «Фарнуорт». Боясь позабыть, как-то ночью, прежде чем заснуть, сочинил мнемонический стих:

Фару вор тянул с капота,
Фару вор тащил в ворота.

По всем приличиям нельзя туда идти до определенного разумного часа, возможно до завтрака, когда, если окна столовой, как в большинстве маленьких отелей, выходят на улицу, Шейла, может быть, хрустнув тостом, заметит его. Ест она мало, но завтраки обожает. Не хочется звонить в дверь, представать в таком виде перед администрацией. Но где именно находится этот «Фарнуорт»? Можно выяснить в телефонном справочнике. Надо найти в автомате телефонный справочник.

Стоп! Потом ведь, в разумное время, можно позвонить жене, она прилетит такси, которое его подхватит в условленном месте. Это избавит от массы хлопот. Но некий крошечный комариный голосок в голове сообщал, что жене нельзя полностью доверять. Почему он волнуется насчет наличных и заклада, когда у жены ощутимый баланс — двухмесячное жалованье? Почему ему кажется, будто жена, усыпив его бдительность по телефону, прилетит не такси, а «скорую» с крепышами? Но, рассуждал он, подобное недоверие вполне естественно: слишком многие ищут добра исключительно для себя. Его жена — это его жена; Шейла есть Шейла. Она

должна понять, должна согласиться, должна помочь.

Эдвин пошел вниз по боковой улочке к широкой магистрали витрин магазинов и офисов. Предположительно это одна из главных артерий Лондона, города, не слишком хорошо ему известного. Натриевые уличные фонари, свет в окнах. Время от времени пролетали машины. Прополз даже автобус авиалиний с зевавшими пассажирами. Эдвин видел свое отражение в полной магнитофонов витрине: мешковатый, тощий, с высокомерным лицом между вязаной шапкой и воротником пижамы, — вполне приемлемый вид для города вроде Лондона. Потом пустился на поиски телефонного справочника. Если полисмен остановит, можно правду сказать, объяснить, мол, спешит к телефону. О некой неотложности свидетельствует пижама, пусть даже противоречит галстук. Вязаная шапка? Может быть, нечто, связанное со срочностью.

Прошло определенное время, прежде чем он дошел до будки хоть с одним томом лондонского справочника, тем паче с искомым. Но наконец, возле конной статуи и магазина с американской одеждой нашелся сей многотомный труд, реферат супердокторской диссертации. Никакой полиции по дороге не встретилось, лишь бродивший пропойца, чернорабочий, или что-то вроде того, и множество кошек. Он подумал, что не только не знает Лондона, но и в Англии больше трех лет не был. От ощущения чуждости обострилась нервозность, Эдвин чувствовал себя дичью. Полез во внутренний карман, твердые корочки паспорта вселили в него уверенность.

Он не предвидел возможности, что отелей под названием «Фарнуорт» окажется так много. Выбрал один с аналогичным больничному почтовым индексом, но название улицы ничего ему не говорило. Все же будет чем заняться, отыскивая отель. Много часов еще надо заполнить. В стеклянном гробу автомата казалось вполне безопасно, можно временно передохнуть. Не так уж много подозрительных действий, рассуждал он, можно удобно и тайно совершить в телефонной будке. Вытащил деньги и стал пересчитывать, как бы перед междугородним звонком, выяснив, что у него в британской валюте чуть больше трех шиллингов. Были вдобавок несколько рупий, других иностранных монет, а еще пилочка для ногтей и крошечный карманный нож. Эдвин был вполне уверен в возможности купить где-нибудь чашку чаю и несколько дешевых сигарет, несмотря на выросшую за время его отсутствия стоимость жизни в Британии. Не сейчас, конечно; по крайней мере, не в этом районе магазинов и офисов, где поздно встают и приходят домой.

Нажал от нечего делать кнопку возврата монет. К его огромному

удивлению и радости, весело, звонко выскочили четыре пенни. Эдвин счел это хорошим предзнаменованием. Впрочем, казалось нечестным совать дар в карман, а потом тратить на что-нибудь не телефонное. Как-то в конце войны он сунул табачнику на Беркли-стрит бумажку в десять шиллингов, получив сдачу, как с фунта. И тут же приобрел еще сигарет на десять шиллингов. Это выглядело справедливо. И теперь решил вернуть почтовому ведомству четыре пенса. На него накатило вдохновение. Он посмотрел номер больницы и теперь, уже бросив медь, гадал, какой акцепт выбрать. Остановившись на театральном ирландском, набрал номер.

— Во-от, — слюняво промычал он, — хочу сообщить кой-какие важные сведения.

Усталый голос на коммутаторе проговорил:

— Да? Соединяю вас с ночным привратником. — Послышались шорохи и зевки. Почему с ночным привратником, недоумевал Эдвин. Почему не с каким-нибудь доктором, не с сестрой, ни с кем прочим?

— Алло, — сказал ночной привратник.

— Во-от, а нету у вас пациента, сбежавшего из больницы?

— Сбежавшего? Сбежавшего? Что вы хотите сказать, сбежавшего? — Это был голос мужчины, мало спавшего днем. — Никто отсюда не сбежал, как вы выражаетесь.

— Оу, а тут сейчас один тип в Хаунсло говорит, что сбежал, так если этот гад вам воще нужен, то знайте, где его искать.

— Где, вы говорите? О чем вы говорите?

— У козла на бороде, вот где, — сообщил Эдвин. — Во-от, чтоб меня потом за него не приняли.

— По-моему, — заключил голос, — ты спятил. Отсюда люди не *сбегают*. Тут не психушка.

— Ладно, дружок, — сказал Эдвин. — Не говори, будто вас не предупреждали. Да хранят и оберегают вас благословенная Дева Мария, ангелы и святые, — добавил он. А потом повесил трубку. Странно. Неужели американка-сестра верит, будто он тужится там до сих пор? Возможно, она — новичок в этой стране — считает британский темп испражнения отличным от американского? Странно, что вся больница панически не гудит. И сам прогудел короткий мотив, сунув руки в карманы, заключенный в крошечном светоче. Вытащил одну руку, нажал кнопку возврата, но на сей раз не получил в бесплатный подарок монету; никакого — расхохотался он — металлического испражнения или нумизматореи.

Глава 12

Было по-прежнему рано, но целеустремленные люди вокруг неслись к поездам подземки. Эдвин покинул свой гроб из-за женщины, коротышки средних лет в заплесневелой меховой шубе, пришедшей в него bona fide^[34] возлечь. (Но можно ли сказать «возлечь»? Это подразумевает лежачего. Возможно, точнее, «восстать», что также охватывает и настойчивое постукивание монетой в стекло.) Изгнанный Эдвин медленно брел, думая, что, если бы Уильям Барнс^[35] или нацисты по-своему обошлись с английским языком, вместо *телефона* был бы сейчас *дальнозвук*; вместо мясника в закрытой лавке — убийник, как в старошотландском; вместо табачника — сигаркокрут. Рядом с сигаркокрутом стоял автомат с сигаретами. У Эдвина был флорин, можно купить десяток. Никаких одушевленных посредников. Хорошо. Прижавшись к стеклу писчебумажного магазина, он увидел журналы. Среди прочих и тот, что купил ему Чарли: «Жестокая красота». И другие, никогда не виданные: «Доблесть», «Акт», «Ох!». Эдвин протер глаза, доставлявшие хлопоты странным раздвоением зрения. Неужели действительно «Воздух», «Гордость», «Слива», «Вот»? Закурил сигарету (истратив пять спичек) и попробовал сфокусировать взгляд, читая объявления в стеклянной витрине. Экзотическая модель кофейного цвета, 41–24-39, обращаться ближе к вечеру. Аннет, специалист по коррекции. Дженис, кожа. Детские коляски, дешево. Небольшие квартиры для бизнесменов, кроме цветных, извините.

За следующим углом виднелся большой белый молочный автомат. У Эдвина был шестипенсовик. Превосходно. Ранний завтрак, снова без одушевленных посредников. Вспышки света снабдили его липкой холодной картонкой с синим отрываемым уголком. Он благодарно выпил холодное молоко, глядя в кислые утренние небеса, еще, фактически, ночные. Луна, впрочем, зашла. Чуть дальше по улице увидел автомат с шестью колонками шоколадных плиток. Скормил ему последний шестипенсовик, выудил плитку орехового медового, сжевал, обсасывая завязшие в месиве зубы.

У Эдвина была трехпенсовая монетка и две по пенни. Не разгуляешься, правда? Нельзя даже позвонить без размена. Только он, разумеется, не желает звонить. По-прежнему жуя, с поднимавшейся время от времени молочной отрыжкой (соответствовавшей, по его мнению, вязаной шапке), пошел назад к магистрали, широкой, бесконечной. В это время ведь нету никаких открытых художественных галерей, библиотек,

музеев? Постель в такой час — единственное бесплатное увеселение для неработающих. Лежащий Лондон. В такое время дня восточные города охвачены пламенем жизни. Эдвин притормозил на ходу. Услыхал поезда. Можно обождать в тепле на вокзале.

Он почти нюхом отыскивал путь к гигантскому вокзалу. Знал, что пахнуть должно сернистым водородом, но его больной нос подсластил этот запах до какого-то лугового. По широкому вокзальному двору поднялся к прокопченному готическому собору. Звякали маслобойки-кадила; едко дымил ладан; гудок ревел oremus^[36]. В огромном пустом зале ожидания стояли скамьи. Эдвин с радостью сел. Благодарение Всемогущему Богу.

Из пригородных поездов клубками вываливались сердитые люди; немногие более умиротворенные сидели на скамьях, погруженные в медитацию, в ожидании дальних странствий. Эдвин чувствовал онемение в голове и в ногах. Рядом с ним на сиденье валялась охапка газетных листов. Он слышал: скомканные газеты греют. Только взял «Дейли уиндоу», как она завопила: «ДЖАЗИСТКАУПАЛАЗАМЕРТВОНАСВАДЬБЕ». А потом прошептала потише, что тысяча японцев остались бездомными после землетрясения. Хватит ли этого на импровизированные носки? Он рассмотрел возможность набить вязаную шапку помолвленным певцом-тинейджером, зашибающим тыщу в педелю, потом передумал. Постоянно присутствовало бы ощущение насмешливой грязной публичной фривольности на бритой голове. Попробовал изготовить носки из страницы с адресованными одиннадцатилетним советами насчет лифчиков и еще одной с заголовком: «МЫ ЛЮБИМ МАМУ, ПОКА ОНА НЕ КРЫСИТСЯ». Счел это чересчур сложным, поэтому в конце концов сунул в оба башмака комиксы, отчего стало немножко уютней. Но голова и щиколотки по-прежнему мерзли. Вот он, большой мир свободы. Эдвин чуть не решил, вернуться в больницу.

Прочел свой паспорт, passeport^[37], 433 045. Доктор Эдвин Сирил Прибой, преподаватель, родился в Уайтби 25.2.21, рост 5 футов 11 дюймов, глаза ореховые, волосы темные. Оттуда на него смотрел привлекательный молодой человек с массой волос, молодой человек, которому суждено было далеко пойти, до Моламьяйна и дальше. Он с великим вниманием прочитал визы, замерзая все больше и больше. Потом заметил на вокзале анклав — станцию подземки. Подумал, может быть, там теплей. Пересекая зал ожидания, увидел двух смотревших на его вязаную шапку пожилых женщин, услышал, как одна говорит:

— Бедный парень. Стригущий лишай.

У Эдвина было пять пенсов. Больше: у него было пять пенсов и полпенни. Плата за проезд до ближайшей к больнице станции составляла два пенса. Автомат выдал билет, ни взглядом, ни словом не комментируя его внешний вид. Он свободно прошел на платформу, получил доступ к скамье, возможность почитать объявления. Было умеренно тепло. Влетали поезда, с шипением открывались и закрывались, потом вылетали, а он ни в один не садился. У него было чересчур много времени. Он даже умудрился вздремнуть.

В восемь часов решил, пора идти. Движение нарастало: выбритые мужчины с газетами; девушки с накрашенными губами. Почти все бросали короткий нелюбопытный взгляд на его голову в стригущем лишае. Эдвин раздумывал, не лучше ли открыть тайну, сорвать шапку, показать здоровую лысину. Но принял решение против. Стоя в поезде, старался сойти за иностранца, превратить весь свой странный наряд в национальный костюм. Поднимаясь в подъемнике, сказал контролеру:

— Ашти варош. — Он всегда успешно изобретал языки. Все взглянули на него. Он слегка кивнул с самоуничижительной улыбкой. Все отвернулись.

«Фарнуорт» отыскался с определенным трудом. Стоял он на улице, которая специализировалась на частных отелях, в том числе на убогих. Из дверей убогих высовывались нечесанные шлюхи за бутылками молока, выходил один-другой мужчина, пристыженный и небритый. Впрочем, «Фарнуорт» не был убогим. Он был болезненно респектабельным, с цветами в ящиках. Эдвин прошелся туда-сюда мимо него, робко заглядывая в столовую. Шейлы пока не видно, но еще рано. Видно молодого человека в пуловере, который готовил сандвич с яичницей; девушку-индианку, которая ела руками сухие кукурузные хлопья; мужчину, похожего на иранца, сидевшего за столом в шляпе. Типичный дешевый лондонский отель.

Люди, позавтракав, уходили, новые занимали места за кружками молока. Обслуживала седовласая женщина — в слепых очках, с открытым ртом, отстранившись душой от своих действий. Эдвин ждал. Вскоре спустилась пара с капризным ребенком, не желавшим никакого завтрака. Ребенок подошел к окну, показал пальцем на шапку Эдвина, начал криками ее требовать. Поспешив дальше по улице, Эдвин обследовал стену с плакатами. Некий эрзац подливки гомонил о своих достоинствах посредством огромного смешанного жаркого из сосисок в три фута длиной, с кружочками помидоров в велосипедное колесо, бесконечно стынущего на лондонском воздухе. Модель, не без сходства с сучкой из ЭЭГ, курила

новую сигарету под названием «Кулкэт». А еще соус «Муставит», который придурковатый муж накладывал себе в тарелку, пока розовая жена сообщала улице: «Мой муженек говорит, *обязательно* надо попробовать».

Эдвин вернулся к окну столовой. Тот самый ребенок явно бьется сейчас в истерике на полу. Среди открыто уставившихся и пристойно отведенных взглядов глаз Шейлы видно не было. Пора осмелеть и осведомиться. Он поднялся по ступенькам и позвонил. Через какое-то время вышел разъяренный старик с белыми, висевшими по сторонам от прямого пробора прядями, в грязном фартуке, с куском рыбы в руке, и без всякой теплоты сказал:

— Ну?

— Извините, я только что из больницы за углом, чем объясняется мой необычный наряд, но скажите, пожалуйста, здесь ли миссис Прибой?

— Миссис... кто?

— Прибой. Знаю, пожалуй, странная фамилия, но действительно уж такая фамилия, и моя тоже, поверьте.

— Никто тут с такой фамилией не останавливался. Останавливались, но уже нет.

— Не будете ли любезны сказать, когда она съехала?

— Вчера, позавчера, кто знает? Сегодня тут, завтра нет, такое уж в отелях правило. Простите, рыба горит.

— Но она не оставила ни сообщения, ни адреса?

С кухни донесся вопль.

— Говорю вам, — сказал старик, — рыба горит. Я пойду, больше ничего не знаю. — И закрыл дверь, кивнув. Эдвин стоял на ступеньках, испуганный, нерешительный. Такого он не ожидал. Но отель «Фарнуорт» с ним еще не покончил. Подошла седовласая, сонная с виду женщина, открыла дверь, спросила:

— Как фамилия? — Явно англичанка.

— Прибой.

— Точно. Когда она в книге записывалась, я еще подумала, хорошее название для стиральной машины. — В ее голосе ничего сонного не было: деловой резкий голос. — Но не только по этой причине я ее в суете не забыла. Я пускать ее больше не собираюсь, можете ей от меня передать, пускай даже не пробует вернуться под другой фамилией, я ее сразу узнаю. Мужчина в номере, подумать только, пока муж-бедняга лежит больной в больнице. А если вы из тех самых мужчин, с большой радостью вам скажу, что она съехала, и не знаю, где ее искать. Вот такие дела. — Рыба на кухне громко шипела. — Вот так вот. — И закрыла дверь.

Эдвин немножечко постоял в унынии. Конечно, рано или поздно он ее найдет, но ему немедленно нужна Шейла, как источник наличных, Шейла, как покупательница шляпы-рубашки. И носков тоже. Кусок комикса из «Дейли уиндоу» вылез из правого башмака. В рамочке изображался примолкший субъект и гангстер с бакенбардами в полосатой рубашке, вызывавшей у Эдвина зависть. Он понимающе ухмылялся и мелкими буквами говорил: «Я с бабками дел не имею, браток. Обращайся к большому боссу». «Ты крыса, Луи», — начиналось в следующей рамке.

Мысль не просто хорошая, мысль единственная. Международный Совет по развитию университетского образования располагает крупными фондами. Лондонский офис в Мэйфере, полный мрамора и стройных секретарш, может себе позволить выделить боб^[38] или два. Только жалко, идти далеко.

Глава 13

Вопрос состоял в том, что купить — коробок спичек или билет подземки за три пенни. Эдвин был вполне уверен, что нынче невозможно найти спички дешевле двух пенсов за коробок. Он был абсолютно уверен, что на три полупенса нельзя купить ничего, кроме кубика мясного экстракта. Лучше идти всю дорогу пешком, но быть сам себе Прометеем: останавливать незнакомцев и просить огоньку — возмутительно, и пахнет настоящим бродяжничеством. У табачного киоска в конце улицы Эдвин вытащил три пенса по полпенни, положил на прилавок два пенса, извинился за свой внешний вид, и ушел с коробком огня. Всегда чувствуешь себя лучше с какой-нибудь стихией в кармане.

Он уже утомился, добравшись до Тоттенхэм-Корт-роуд. Дорожное движение смущало его, в пот вгоняло, не хуже пуловера. Оксфорд-стрит, Бонд-стрит, анонимный поворот направо, Беркли-сквер. Перед ним целиком лежала конфетная коробка Мэйфера. В пижаме и в ночном колпаке по ярчайшему Мэйферу. Он с завистью посмотрел на мужчину, входившего в «Трамперс».

Лондонский офис Международного Совета по развитию университетского образования находился на Куин-стрит. Эдвин в нерешительности помешкал на улице, поправил шапочку, затянул узел галстука, разгладил воротник пижамы. Порталы с символизирующей Систему Преподавания обнаженной скульптурной группой над ними были рассчитаны на устрашение. Двери из сплошного стекла казались вечно открытыми, и опять же должны были что-то символизировать. В вестибюле бронзовый бюст на мраморном пьедестале: сэр Джордж Мармор, великий Учредитель Университетов, Светоч высшего образования. Мармор — мрамор. Жалко, что эти слова не родственны. Лицо сэра Джорджа, твердое и бесчувственное, испещряли прожилки. Высоко на противоположной входу стене девиз организации:

«SIC VOS NON VOBIS»^[39], — изысканно безглагольный, двусмысленный, хитрый, типичный. Швейцар направился к Эдвину.

— Вы когда-нибудь задумывались о смысле этого? — спросил Эдвин.

— Чего, сэр? Этого, сэр? Нет, сэр. — Достойный старик астматик.

— Может быть, это значит: «Вот вы работаете, однако не на себя».

Интересно, кто это — «вы».

— Кого желаете видеть, сэр? — Эдвин знал, старик мерит его своей

меркой. Тут, должно быть, полно таких: ходячие вывески ценностей высшего образования, неразговорчивые неряшливые педанты, которым велено не отклоняться от темы. Как заметил Эдвин, вокруг в данный момент никого из них не было: вестибюль согревали сновавшие туда-сюда темнокожие, тонкоголосые и даровитые. Видимо даровитые.

— Мне хотелось бы повидать мистера Часпера.

— Мистера Часпера, сэр. А как мне о вас доложить?

— Доктор Прибой.

— О, ясно, сэр. — Швейцар кивнул и медленно пошел назад. — Очень хорошо, сэр. — Он любезно улыбнулся, возвращаясь в стеклянную будку. — Позвоню только его секретарше, сэр. — В будке он завязал телефонный разговор, кажется дольше необходимого. Эдвин побродил по вестибюлю, поглядывая на последние публикации Совета — дорогие монографии, обзоры новой архитектуры. Определенно могут позволить себе выделить боб-другой.

— Как фамилия? — Патрицианский голос, секретарша блондинка, устрашающе элегантная, — вся в черном, индивидуальный пошив, ноги в рекламных из «Вога» чулках.

— Фамилия, — сказал Эдвин, — Прибой. Доктор Эдвин Прибой.

— О. И зачем вы хотели увидеться с мистером Часпером? — Эдвин приготовил лекцию по идиоматическому употреблению претерита^[40]. Она называлась бы так: «Прошедшее время как смертельное оружие».

— Просто хочу повидать его, если это возможно. Я был выпущен из больницы с целью встретиться с ним. Этим объясняется, — объяснил Эдвин, — мой довольно странный наряд.

— О, — сказала секретарша. — Лучше, пожалуй, пройдите сюда. — Что, возможно, означало: «Больше не могу допустить, чтобы меня здесь видели беседующей с вами». Она повела его по коридорам, дойдя, наконец, до дверей, которые хорошо помнил Эдвин. Перед дверью стояла вешалка для шляп с котелком мистера Часпера с круто загнутыми полями. Большеголовый мужчина. — Будьте добры просто здесь обождать, — сказала секретарша, входя в кабинет. Через три минуты к дверям подошел сам Часпер, громкоголосый, с сердечным рукопожатием.

— Прибой, — сказал он, — Прибой, Прибой. Самое поэтическое имя на всем факультете. Заходите, дорогой друг. — Это был симпатичный брюнет, элегантный, подобно своей секретарше; какой-то там тори. Он сел за свой стол, сложил руки, энергично взглянул на Эдвина и молвил с понижающейся интонацией: — Да.

— Я только что из больницы вышел, как видите, — сказал Эдвин. — И

хотел перемолвиться с вами словечком по поводу денег.

— Я так понимаю, операция прошла удачно? — сказал Часпер. — Полагаю, мы скоро получим известие. Знаете, наш доктор Чейз позаботится о вашем возвращении. А как, — осведомился Часпер, — миссис Прибой?

— Наверно, хорошо, — сказал Эдвин. — Что мне действительно нужно в данный момент, так это каких-нибудь денег.

— М-м. Ведь вам заплатили, не так ли? — Часпер добродушно нахмурился. — Жалованье за два месяца вперед. Казначей прислал копию ведомости. Это значит, что больше вам жалованья не положено до... дайте сообразить, да, до конца ноября. Довольно долгое время. Думаю, — сладкозвучно продолжал он, — вы обнаружите, что жить здесь довольно дорого. Или ваша жена обнаружит. — И улыбнулся, как бы сообщая: «До чего женщины экстравагантны, не правда ли? Моя тоже, старик. Я-то знаю».

— Ну, — сказал Эдвин, — если честно, проблема вся в том, что жена моя отправилась чуточку отдохнуть и забрала все деньги с собой, а мне нелегко с ней связаться. Вопрос, понимаете ли, в монете-другой, чтобы мне протянуть до ее возвращения.

— Но ведь о вас в больнице заботятся, правда? — сказал Часпер. — Я хочу сказать, не принято нуждаться в лишних деньгах на еду и так далее, лежа в больнице. Люди вам передачи приносят, не правда ли? Это, кстати, напомнило мне, — сказал Часпер, — что я не навестил вас, не так ли? Непременно приду, принесу винограду или еще чего-нибудь. Я так понимаю, вы любите виноград? — И что-то нацарапал в записной книжке.

— Если б я мог занять, — сказал Эдвин, — пару монет на жизнь. Если бы вы могли черкнуть казначею записку. Чтобы высчитали из ноябрьского жалованья. Вот и все. Всего пару монет. Фунтов, — перевел он, чтоб Часпер как следует понял.

— И сигарет принесу, — обещал Часпер. — Рад видеть, что вы выглядите настолько лучше.

— Лучше чего? — спросил Эдвин. — Слушайте, насчет пары монет. Фунтов. Одного фунта...

— О, лучше, чем я ожидал после всей этой возни с замшелым серым веществом. Волосы, думаю, быстро вырастут?

Возникла секретарша.

— К вам профессор Ходжес, мистер Часпер. Пришел чуть раньше назначенного.

— Впустите его, — велел Часпер. — Рад был снова вас видеть,

Прибой. Заскочу в часы для посещения. Раньше надо было это сделать, да вы знаете, как мы тут заняты. Привет миссис Прибой.

На стене висела карта. Эдвин глазел на нее, открыв рот.

— Зенобия, — сказал он. — Нет такого места, Зенобия. — Вошел аккуратный мужчина с умными глазами, профессор Ходжес. — Слушайте, — сказал Эдвин, — что это за Зенобия? Кого вы одурачить хотите?

— Не принесете ли досье, миссис Вулленд? — сказал Часпер. Секретарша зашла во внутреннее помещение. Эдвин остался на собственном попечении. — До свиданья, Прибой, — сказал Часпер. — Постарайтесь как следует отдохнуть.

Теперь у дверей в кабинет Часпера не было шляпы не только Часпера, но также и профессора Ходжеса. Профессорская шляпа была очень мала. Шляпа Часпера чуточку велика. Держалась у Эдвина на ушах. На ленте значилось имя авторитетного шляпника. Ее можно вернуть, обменять. Это следующая задача. Заложить? Не много получишь. Эдвин вошел в читалку. Хмурые индусы читали «Панч» и «Нью стейтсмен». Тут уж никакой «Жестокой красоты». Эдвин завернул котелок Часпера в номер «Таймс». На каминной полке лежал довольно симпатичный том о карибских птицах. Можно получить за него кое-что, хотя на рубашку, наверно, не хватит.

— Простите, — вдруг сказал негр. — Эта книга моя.

Эдвин опомнился, потрясенный. Кража, да? Настоящая деградация. Но во всем виноват Часпер. Сволочь скупая. Тем не менее невозможно удачно продать эту шляпу или обменять. Он ее позаимствовал, вот и все. Отдаст, когда раздобудет каких-нибудь денег. «Таймс»? Эдвин решил использовать на обертку всего один двойной лист. Это будет около пенни. Оставил три полупенса, — на его взгляд, поистине щедро. И остался пустой (преlestное слово).

— Получили, что хотели, сэр? — спросил любезный астматик швейцар у выходявшего с пакетом Эдвина. Эдвин улыбнулся.

Теперь надо было пешком возвращаться к больнице, вероятно к «Якорю», в данное время, — как сообщали уличные часы, — открытому. Может, Шейла заглянет, хотя он как-то сомневался. Интуиция у него в последние дни довольно неплохо работала, возможно вследствие болезни. Но лучше всего держаться именно этого заведения. Может быть, кто-нибудь знает, где она; может, она поручила кому-то отнести в больницу записку.

За Грейт-Рассел-стрит Эдвин увидел мужчину в фуражке, носившего, точно сандвич, рекламные щиты, уныло шаркавшего по серой улице под

серым небом. Передний щит гласил: «НЕ ДИВИТЕСЬ, БРАТИЯ МОИ, ЕСЛИ МИР НЕНАВИДИТ ВАС. I Св. Иоанн, 3». На заднем щите было написано: «СКАЗАЛ БЕЗУМЕЦ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: „НЕТ БОГА“. Псалом 52».

— Хиппо, — окликнул Эдвин.

— А? Чего? — Хиппо вытаращил глаза, морщинистый, грязный, с верхней губой, запавшей внутрь в месте отсутствия зуба. — Чего надо?

— Тебе чертовски хорошо известно, — сказал Эдвин, — чего мне надо. Мне часы мои надо, черт побери. — И протянул руку.

— Не знаю, кто ты такой, — сказал Хиппо. — Никогда раньше за всю свою хреновую жизнь тебя не видал.

— Стой. — Прохожий, слыша императив, остановился на миг. — Проклятье, хорошей, должно быть, мы выглядим парочкой, — прокомментировал Эдвин и принялся разъяснять Хиппо: — Щелкушка. Больница. Часы.

Тон Хиппо начинал возвышаться к базарному вою кокни.

— Никогда не видал твоих хреновых часов. Никогда даже не знал, что у тебя есть часы хреновы. Чего пристал. — Он жестикулировал на восточный манер. — Сделай хреново доброе дело, и вот чего получишь. Не достать меня, — продолжал он, — таким, как ты, вообще никому. — Он старался собрать небольшую толпу. — Вот он тут объявляет, будто я украл его хреновы часы. Никогда не видал я хреновых часов. Никогда даже не знал, что у него есть часы. — Библейские тексты внушали к нему симпатию.

— Позор, — сказала женщина в вышедшем из моды твиде, уже благородно подвыпившая. — Их должны в своих странах держать. Иностранцы у наших людей отнимают работу.

— Если вы говорите, будто он у вас часы украл, — сказал мужчина в пальто и в очках, — то должны доказать. Должны в участок его отвести и должным образом предъявить обвинение.

— Не хочу неприятностей, — объяснил Эдвин. — Мне нужны только часы или соответствующий эквивалент в наличных.

— Являются сюда, — сказал мужчина с кипой дневных изданий, — учатся нашему языку. Правительство слишком мягко с ними обращается, как я погляжу.

— Говорит, я часы его хреновы прихватил, — скулил Хиппо. — Какое он право имеет расхаживать тут и это говорить? Я ни ему и никому другому ничего плохого не сделал. Стараюсь честно заработать на жизнь, хожу тут вот с этими досками, а он пришел и давай ко мне приставать. стыдоба

хренова.

— Точно, — сказала подвыпившая женщина в твиде. — У нас свободная страна, была, по крайней мере, пока эти заграничные не нахлынули. То и дело видишь, — сообщила она маленькой плотненькой женщине, которая присоединилась к компании, — как они живут на бесчестные заработки белых женщин. Большой низости нету.

— Просто хожу с объявлениями, — продолжал Хиппо, — видите, вот написано. Объявляю, по-моему, про какую-то приличную кафешку, куда котов вроде него вообще не пускают. Видите, просто стараюсь вести приличную жизнь, прокормить жену и семерых ребятишек. — Вой еще повысился.

Эдвину не понравились инициированные твидовой женщиной и завершённые Хиппо обвинения в сутенерстве. Вдобавок до толпы дошел факт неграмотности Хиппо, отчего она проявила к нему еще больше симпатии. Интуиция полыхнула, и Эдвин сказал Хиппо:

— Я все про тебя знаю. Ты звонок на малине.

Ошеломленный Хиппо выше замахал руками.

— На-а како-ой на мали-ине, — заныл он, — просто на одной хазе. И со всем с этим покончено. Завязано, Богом Всевышним клянусь. Не собираюсь я тут стоять, чтоб он меня оскорблял. Уйду с его дороги, — сообщил он симпатизирующей толпе. — Надо же вот так вот на меня наехать. — И приготовился тащиться дальше, прилаживая свои щиты.

— Надо на него в полицию заявить, — предложила твидовая женщина. Полисмен, легкий на помине, возник, присматриваясь, в дальнем конце улицы. — По-моему, — сказала твидовая женщина, — лучше нам не мешаться.

Универсальное чувство вины, думал Эдвин, пока толпа рассыпалась с пристыженными физиономиями. Государственный заменитель первородного греха. Хиппо улепетывал быстрее всех. Мужчина с дневными газетами в спешке выронил экземпляр «Стар». Осенний порыв ветра подхватил газету, наклеил лист на задний щит Хиппо. «СКАЗАЛ ГЛУПЕЦ В СЕРДЦЕ СВОЕМ» мгновенно залепилось, и Хиппо принялся пропагандировать атеизм на лондонской улице. Хотя для него это никакой разницы не составляло.

Глава 14

— Мы с Кармен, — сказал Лес, — собирались прийти вечером навестить тебя и передать вот это. Но, видя тебя тут, могу сейчас отдать. — И протянул Эдвину записку в незапечатанном конверте. Там было сказано:

«Милый, я больше не живу в „Фарнуорте“, слишком дорого. Где, пока не знаю, но буду писать. Очень рада, что операция позади. Приду навестить, когда тебе действительно станет лучше. Люблю. Ш.».

— Ну, — сказал Лес, — очень быстро управились, правда? Удивительно, что нынче делают.

— У вас есть хоть какое-то представление, куда она отправилась? — спросил Эдвин. — Не сказала?

— Была тут вчера вечером, — сообщил Лес, — с тем художником. У меня мысль такая, что отправилась куда-то к Эрлс-Корту. Точно, конечно, не могу сказать.

— У меня просто нет ни единого пенни, — сказал Эдвин. — Ничего, кроме вот этой распроклятой шляпы. — Завернутая в «Таймс», она лежала на стойке бара.

— Много за нее не получишь, — заключил Лес. — Может быть, боб-другой. Деньги — вечная проблема. Я Кармен сейчас на работу послал. В гамбургерный бар, — добавил он.

Лес, решил Эдвин, гораздо приятнее Часпера. Лес уже уговорил две пинты легкого эля, смешанного с крепким. Все люди тут, в баре «Якорь», казались очень милыми людьми. Хозяин с хозяйкой тоже, кажется, очень милые. Очень симпатичные.

— Излишнее беспокойство о будущем не приносит добра, — изрек Лес. — Вот что тебе надо усвоить. Беспокойства не далее очередной выпивки вполне достаточно. Если хочешь, можно... — Он рыгнул, и превратил отрыжку в начальные такты «Trauermarsch»^[41] Зигфрида. — Потрясающе, — объявил Лес. — Волокут старика Зигфрида на погребальный костер. Тонну весит, будь я проклят. Нашего нынешнего, Ганса Ванфрейда, потаскай-ка, любой напололам треснет. Вполне можно выпить за его здоровье. Славный парень. Чего я сказать хотел, так это, если нас очередная выпивка волнует, не вызвать ли нам вон тех двух на щелкушку? Когда выиграем и они спросят, чего нам за это, не говори просто — полпинты легкого. Говори — золотые часы или какую-нибудь веру линн^[42]. Они себе могут позволить.

— А если проиграем? — любознательствовал Эдвин.

— Не проиграем, — сказал Лес с величайшей уверенностью и кликнул двух выпивавших, одного раздутого, другого изысканно тощего, сидевших на скамейке у большого непрозрачного окна бара, поставив пинты на подоконник позади себя. — Ларри, — кликнул Лес, — Фред. Мы с ним с вами сыграем. — И позвенел пятью монетами в кулаке. — Ты, Альберт, мел бери в руки. — Альберт представлял собой бывшего петуха, спившегося пуншем и ушедшего на покой. Он встряхнулся, как пес, сел за доску для шаффлборда^[43], и стал ждать, тяжело пыхтя.

Лес с Эдвином выиграли очередь. Лес метнул три монеты прямо в Шотландию, все три чистенько посреди клеток. Альберт отчеркнул мелом весь ряд. Ларри три из своих пяти положил неаккуратно. Эдвин вдруг ощутил радость игрока. Лес был прав: беспокоиться стоило только об окончании этой игры. Эдвин метнул две в верхний ряд, одну в средний. Две оставшиеся попали на линии.

— Хорошо, — довольно громко объявил Лес, — сделано. — Фред в стильном стиле спиннингиста щелкнул четыре, но к верху не приблизился. Лес положил все пять. Верхний ряд теперь заполнился. — Славно, славно, — сказал Лес. Ларри нацелился на два верхних ряда, положил туда три монеты. Эдвин щелкнул четыре, севшие на линии. Пятая чисто вбила их в клетки. — Прекрасно, — причмокнул Лес.

Дело было в шляпе. Разница в счете между двумя командами все время составляла не меньше пяти. Лес заполнил нижний ряд, положил две в следующий над ним, — все это с оскорбительным мастерством. Теперь Эдвин должен был нанести coup de grace^[44] где-то посередине. И не справился, не сумел. Разрыв угрожающе сократился. Общим командам требовалась только одна удача. Юный голос позади Эдвина проговорил:

— Слушайте, чья это шляпа?

— Не сейчас, — сказал Лес. — Одну минутку, пожалуйста.

Эдвин промахнулся с тремя монетами. А четвертую положил хорошо.

— Подпихни ее, — сказал Лес. — Просто пихни, и все. — Сердце у Эдвина быстро билось. Он толкнул пятой монету четвертую. Четвертая скользнула на место. Лес ликовал.

— Последней немножечко тесновато, — заявил Фред.

— Тесновато? — переспросил Лес. — Тесновато? — апеллировал он к Альберту. — Старик, тут карета с лошадьми пройдет, чтоб я сдох. — Альберт сказал, что не тесновато. Ларри с Фредом признали победу Леса и Эдвина и спросили, чего они хотят. Легкого светлого пива и золотые часы.

— Слушайте, — сказал молодой человек, изящный, городской, — чья это шляпа? — «Таймс» соскользнула, котелок с загнутыми полями остался сидеть голышом.

— Моя, — сказал Эдвин, — более или менее.

— Одолжите мне, — попросил молодой человек, — всего до конца дня. Это важно.

— Я бы одолжил, — сказал Эдвин, — но...

— Не надо было говорить про важность, — вставил Лес, — ибо цена от этого повышается. Скажем, фунт в залог с возвратом при возврате шляпы и надежное оксфордское поручительство за долги. Идет?

— Идет. — Молодой человек протянул книжку оксфордского стипендиата. — А теперь, может быть, джентльмены... — Фунт в залог; фунт на стойку.

— Нам еще раз то же самое, — сказал Лес хозяйке, симпатичной добродушной женщине. А Эдвину сказал: — Что я тебе говорил? Десять минут назад ты расстраивался, что у тебя нету денег на выпивку. А теперь погляди на себя — вдвойне подзарядился. И в кармане кое-что.

— Мне надо рубашку купить, — сказал Эдвин.

— Рубашку? Зачем тебе рубашка? Я рубашку никогда не ношу. — Он дернул свое полосатое облегающее одеяние. — Нет, настоящую, то есть рубашку, какую с галстуком надо носить. Твой прикид — как бы новая мода. Экономит по утрам кучу времени. То есть, если спишь в пижаме. И ночью должно кучу времени сэкономить. Вон, — сказал Лес, — идут два еврея. Может, что-нибудь знают про твою миссис. — Эдвин, однако, видел только пса Ниггера. Пес положил на стойку лапы и получил колбасу. — Лучше б ты заплатил, — посоветовал Эдвину Лес. — У тебя деньги есть.

Когда Ниггер прикончил свою колбасу, в бар вошли близнецы Стоун.

— Смотри-ка, кто тут, — скорбно сказал Гарри Стоун. — Перфессер. Не кто-нибудь. Будь она моя миссис, доложу я вам, разложил бы ее у себя на коленях. Видали, с каким она молокососом была? Я бы такого не допустил.

— Где она сейчас? — спросил Эдвин.

— Непременно верну нынче вечером, — посулил красивый молодой человек, грациозно взмахнув шляпой Часпера. — И еще раз спасибо.

— Никакой спешки нету, — сказал Лес. Молодой человек ушел, взгромоздив шляпу на голову. Шляпа превосходно сидела.

— Веера была, — сообщил Гарри Стоун, — сказала, мозет, сегодня зайдет. Лео, позалуйста, полпинты крепкого. — Лео Стоун пристально смотрел на Эдвина. Потом заговорил, причем речь звучала сперва тарабарщиной, быстрой, ритмичной. Как филолог, Эдвин знал: это вариант

trompe-l'oreille^[45], характерный для старого Лондона. Слоги подлинных слов отделялись один от другого вокабулой «боро». Речь, однако, была слишком быстрой, чтоб за ней уследить. Гарри Стоун отвечал на том же жаргоне, глядя на Эдвина, делал собственные комментарии. Близнецы по-еврейски оживились.

— Ему хосется знать, — перевел Гарри Стоун, — сто у вас там под сапкой.

— Отсутствие волос, — объяснил Эдвин. — На данный момент. Лыс, как лысуха, по клиническим соображениям.

— Вид зуткий? — уточнил Гарри Стоун. — Я имею в виду, ужасное уродство? Я имею в виду, одни срамы, раны и просее, сто обысьного селовека просто вывернет наизнанку? — Тактично подразумевалось, что обычных вокруг не имеется.

— Нет, — сказал Эдвин. С двумя виски и парой пинт в желудке он лишился центров торможения. — Смотрите. — И сдернул шапочку.

— А-а-а-х, — сказал Лео Стоун. — Дьявольски потрясающе.

— Таки правда, красиво, — подтвердил Гарри Стоун. — Думаю, можно использовать.

— Прямо сейчас отыщу свистуна, — сказал Лео Стоун и взволнованно начал искать медь. — Даст нам пару кусков, — бросил он своему близнецу и, вооружившись четырьмя пенсами, убежал.

— В чем дело? — спросил Эдвин. — Что тут происходит? — Гарри Стоун принялся изучать его голый скальп под разными углами. — Если вы думаете, — сказал Эдвин, — будто кто-нибудь снова начнет обращаться со мной как с неодушевленным предметом, с меня хватит, я вам говорю. — И с достоинством надел шапку.

— Деньги, — страстно сказал Гарри Стоун. — Вот сто это зносит — деньги. Везде деньги, если правильно взяться. Эта лысая голова — деньги. — Мельтешившими в возбуждении руками он задевал Эдвина. — Деньги, — повторял он, — мани. — А Эдвин восхищался ударной гласной. «Мани». Гласная сосредоточенная, удлинённая, растянутая; рот Гарри открывался как бы жадно и в то же время презрительно, будто ловил деньги, мухами летавшие в лондонском воздухе.

Ворвался Лео Стоун.

— Вам ведь сорока *еще нету*, да? — задыхаясь, спросил он Эдвина. Эдвин, недоумевая, кивнул. — А под какой фамилией вы обычно живете? — задыхался Лео.

— Под собственной, — признался Эдвин. — Прибой. Но какое...

— Прибор, — кивнул Лео. — Тоже красиво. — И опять побежал к

свистуну.

— Честно было бы, — проговорил из угла Ларри, — дать нам реванш. — Он прикончил пинту и тщательно причесался.

— Точно, — подтвердил тощий Фред. — Альберт, бери снова мел. — Альберт уже сидел у доски с мелом в руке и с разинутым ртом.

Лес энергично кивнул в знак согласия принять вызов и от расстройства запел матросскую песнь, с которой начинается «Тристан и Изольда». Пел он ее в незнакомом апокрифическом переводе:

Свежий ветер с моря
Задувает снова.
Ох, хлебнешь ты с ними горя,
Ирландская корова.

Выиграв очередь, Лес вбил три монеты. Мел черкнул раз, два, три. Фред положил четыре. Эдвин заполнил средний ряд и вбросил две в Шотландию.

— Славная опера, — сказал Лес. — Этот малый поехал в Ирландию, чтоб привезти своему дядьке ту самую телку. Тут они друг в друга втюрились. Что потом, как вы думаете? Трагедия. Прямо жуткая трагедия. И его прикончили, и она на него падает и умирает. Поет сначала, конечно. Не один час умирает. — Пришел его черед играть. Пять монет без труда улеглись в верхний ряд. Эдвин чувствовал на своей лысине дыхание братьев Стоун.

— Пусок узе лезет, — заметил Гарри Стоун. — Электробритвой луссе всего. Нузен таки хоросий уход до весера сетверга.

— Да что, на самом деле... — начал было Эдвин.

— Деньги, — сказал Гарри Стоун, почти трясая Эдвина. — Вы нам всем, выигрыс принесете.

— Нет, знаете ли. Если думаете, будто я собираюсь участвовать в той или иной чертовой интермедии... — Он с достоинством надел шапку.

— Ну и язык, ну и выражения. — Прозвучало шокированное цыканье.

— Стыд и позор, — страстно провозгласил Гарри Стоун, — упустить такой санс. Просто конкурс, и все.

— Твоя очередь, — напомнил Фред, подтолкнув локтем Эдвина. Рассерженный Эдвин с чудовищной легкостью набрал четыре очка. Ларри удалось набрать три. Лес хорошо постарался. Гарри Стоун сказал:

— Конкурс лысых голов. На луссюю неестественно лысую голову до

сорока. То есть на специально побритую лысую голову. На красоту тозе будут смотреть. — И встряхнул Эдвина. — Судят всякие знаменитые телки по телику.

Эдвина дергали и с другой стороны: его очередь. Меловые значки очень быстро пятнали клетки; игра шла быстротечная. Лес пел:

— Твой малыш... околел; дай его... оживлю, — но тихо, поэтому мало кто слышал. Он без особого труда набрал четыре очка.

— У слова competition^[46], употребленного вами, — сказал Эдвин, — интереснейшая история. Имеется среднеанглийская форма counte. В более ранних формах более определенное начальное kw. Разумеется, родственно quit, а также, что вовсе не столь удивительно, как вам, возможно, покажется, queen^[47]. Квимтессенция женственности, можно сказать. — Он был доволен своим каламбуром, но, похоже, никто больше не усек, не обрадовался. Гарри и Лео Стоуны внимательно слушали голос за дверью бара.

— Идет, — сказал Гарри Стоун своему близнецу. — За тобой.

— Ради бога, побудь сегодня за меня, — взмолился Лео. — Я просто не в настроении. Честно, просто не вынесу. — Женщина за дверью теперь показалась в дверях, кивая куда-то за кулисы, заканчивая свою реплику:

— Ja, ja, ganz schrecklich^[48].

Вывернул звероподобный грузовик, сунулся в узенький переулочек справа от паба, выворачивая куски кирпича и средневекового камня. Женщина миг постояла в дверях, лихорадочно вглядываясь, под грохот крыльев грузовика у нее за спиной.

— Стоб ее, — молился Гарри Стоун, — в один прекрасный день сшиб бы и переехал бы вот такой вот грузовик. Ниспосли, Господи. — Женщина представляла собой ганзейку, суровую, бочкообразную, затянутую в корсет, в шерсть цвета электрик, в туфлях на низком каблуке, с матерчатой сумкой. Она переводила взгляд с одного близнеца на другого, делая выбор. Кивнула и направилась прямо к Лео Стоуну.

— Доппель^[49] джин, — приказала она.

Лесу и Эдвину требовалось набрать три; их соперникам — пять. Лес промазал из прекрасного положения, выругался и набрал два очка. Заканчивать вновь пришлось Эдвину. Ларри приобрел четыре из нужных пяти. Фреду оставалось заполнить лишь легкую нижнюю клетку, а Эдвину досталась неудобная посередине. На сей раз он должен попасть. Над доской, как над порнографическим журналом, раздавалось взволнованное пыхтенье. Первая монета Эдвина никуда не попала. Вторая пролетела

прямо в конец доски в аут.

— Не нервничай, — посоветовал Лес. — Полегче теперь. Нежно, медленно. Вообще спешить некуда. — Третья попала в клетку над той, куда надо было попасть. Четвертая сдвинула третью вверх, но сама осталась слишком низко. Эдвин вспомнил про деньги у себя в кармане, стало быть, выигрыш или проигрыш не имеет значения. И щелкнул последнюю монету. Четвертая попридержала ее в самом что ни на есть нужном месте, и пятая мертво легла посреди нужной клетки.

— Ох, как мило, мило, мило, — возликовал Лес. — Мы их снова сделали. — И запел песнь Ирода, наблюдающего за падением седьмого покрывала: — «Чудо! Чудо!»^[50]

Легкое светлое пиво и золотые часы. Эдвин чувствовал себя обязанным что-то дать этой небольшой компании, хоть и не филологическое. Гарри Стоун тихо сказал:

— Токо послушайте, каких она ему сертей задает. Ведет себя, будто зена, а не то, сто есть таки на самом деле. Скоко крику. — Женщина монотонно распекала Лео Стоуна, а сам Лео Стоун без конца жевал нижнюю губу.

— Доппель джин, — дважды повторяла она. Не совсем трезвый Эдвин сказал:

— Если была мысль с помощью моей лысины напоить эту женщину бесконечной очередью двойных джинов, другое что-нибудь придумайте.

— Не-е-ет, — прорычал Гарри Стоун. — Все деньги на свете не принесут этой зенссине ссястья. На вас выигрыш токо куренка накормис, про нее говорить даже несего. Напоить эту зенссину джином — надо селое состояние. Не знаю, засем он с ней связался. Хотя знаю, в каком-то смысле.

— Зачем?

— Из-за оссиюенья вины, — неожиданно сообщил Гарри Стоун. — Немсы евреям устроили распроклятую зизнь. Поэтому, как война консилась, Лео устроил сести-семи этим самым немеским телкам распроклятую зизнь. Вы себе даже не представляете, наскоко распроклятую. До сих пор трясутся при одном воспоминании об этом. Поэтому он теперь с ней связался. Хотел тозе устроить проклятую зизнь, да она никогда ему возможности не давала. А к нему присло оссиюенье вины. Токо послушайте, сто за язык. — Женщина продолжала грязную тираду на языке Гете. Лео Стоун отвечал вроде бы на том же языке. После нескольких фраз Эдвин сообразил: это идиш. Со всеми скорбями своей рассеянной по миру, беспокойной, измученной расы, отразившимися во взгляде, Гарри Стоун обратился к хозяину:

— Эй, Дзек, эй.

— Чего? — Хозяин представлял собой компактного мужчину, вполне представительного, с ласковыми пронизательными глазами над крепким носом и с сардоническим ртом.

— Дай-ка нам бутылку «Гордона», — сказал Гарри Стоун, — и бутылку сотландского. И полдюзины тоника, и сипфон. — Хозяин направился к полкам, а Гарри опять повернулся к Эдвину: — Надо нам днем открыться, заработать боб-другой прибыли. Ненавижу свое заведение, но привязан к нему и увяз. Токо, — сказал Гарри Стоун, — никакого пива не дерзу. Стоб по-быстрому опрокидывали по рюмке. В пятнису утром сосьтемся, — сказал он хозяину. Взглянул на скрытую лысину Эдвина и кивнул. — Смогу-таки расситаться кое с какими долгами после сетверга.

Глава 15

Время закрытия на прозаической улице, глухая осень, мрачная от надвигавшегося дождя. Они шли в клуб — Лес с близнецами Стоун впереди, Эдвин позади с немкой-сожительницей. Пес Ниггер брел своей дорогой, шмыгая от одного прелестного уличного аромата к другому, — дерьмо, чеснок, бараний жир, моча, консервные банки, грязные дети. Один грязный ребенок аденоидно прогнусавил что-то гортанное Гарри Стоуну, Гарри Стоун слегка сбрызнул ребенка содовой из сифона. Немку-сожительницу звали Ренатой. Топая рядом с Эдвином, она сказала:

— Если хотите вы денег давать ему, денег, мой дорогой, не давайте ему. Тратит он каждый, что я даю пфенниг ему. Женщиной сюда богатой прибыла в Англию я, и бедная совсем теперь вот. В Германию, вы думаете, возвратиться могу я? Не могу, нет, я, нет. Дважды думать надо, надо пару думать раз, прежде денег ему чем давать. Ни на воздух, ни на воду, дорогой мой, билет не могу купить я. Вот, — сказала она, сделав паузу, чтоб набрать воздуха, останавливаясь на ходу, остановив на ходу Эдвина рукой в коричневой шерстяной перчатке, — вот она, я, без на теле нижнего белья, еврея стала грязного рабой.

— Да, — сказал Эдвин, — вечная возвышает нас женственность. Я проголодался, — сообщил он, чувствуя в разных частях своего организма посвистыванье ветерков, поползновенье мурашек, жар сердца, вкупе с воодушевляющим вкусом баранины в груди. — Надо что-нибудь съесть.

— Говорите съесть вы? Съесть? У меня пять на еду дней денег неделю нет. Золотой есть у вас? Деньга есть у вас? Будем есть сейчас вместе мы... — В уголках рта у нее вскипела слюна. Собственно, подумал Эдвин, ей бы следовало взамен бесконечного доппель джина спросить в пабе сосиску-другую. Возможно, уроженка славной колбасной страны, она презирует сосиски английского паба.

— Угла вокруг, — сообщила Рената, — лавка имеется малая, где мясо свиное и ножку, и получить с капустой бычатиной кислой, и черный можно хлеб. — Звучало заманчиво.

— Вот дело все в чем, — сказал Эдвин, — этот фунт — депозит, подлежащий возврату по возвращении человеком одолженной у меня шляпы, мною самим с возвратом одолженной. — И качнул головой, ибо сам начинал выражаться на невразумительный тевтонский манер. — Понимаете, не моя эта шляпа. Если я не сумею вернуть депозитный фунт,

мне придется позволить тому человеку оставить шляпу у себя, а шляпа, в конце концов, не моя. Это будет равносильно краже. А красть, — сказал Эдвин, — я не могу.

Рената, похоже, усвоила христианскую философию публичного бара.

— Беспокойтесь вы завтра, — молвила она. — Назад он если шляпу не принесет, вор тогда кто? Дорогой мой, вы нет. Ее назад когда он принесет, деньги может у вас будут быть.

— Да, — сказал Эдвин, — моя жена. Нынче днем. В клубе. Только поесть я должен сначала, — сказал он. Подобный порядок слов, безусловно, идиоматичен?

Рената взяла его за руку и быстро повела через дорогу в другую сторону от клуба. Близнецы Стоун с Лесом уже открыли дверь и вошли: изнутри глухо слышались проклятия и lamentации Гарри Стоуна. Рената влекла Эдвина за угол к ряду низеньких лавок, одна из которых источала сильный запах фиалок. Эдвин сделал привычную скидку на больной эпителий своего обонятельного аппарата и интерпретировал весенний аромат как запах очень горячего жира.

— Или, — предположил он, — если я стану избегать того человека, чтоб меня все время не было, когда он принесет назад шляпу, разве это можно будет назвать воровством?

— Внутрь, мой дорогой, заходите, — сказала Рената, энергично таща Эдвина. — Съесть, мое дитя, съесть.

К удовольствию Эдвина, закусовая называлась «Юнг»^[51]. Там была стойка, кофейный автомат и разнообразные архетипичные, хоть с виду не тевтонского типа, бездельники за столами, крытыми чисто белыми скатертями. Председательствовала косоглазая толстая женщина с некогда белокурыми волосами, до сих пор заплетенными в косы Гретхен. Произошел громкий обмен приветствиями между ней и Ренатой. Из дальнейших переговоров Эдвин уяснил, что его вязаная шапка не признана респектабельной. Рената дала объяснения, изобразив щелканье ножниц и движения перерезающей горло бритвы. Гретхен, смягчившись, кивнула, одарив Эдвина краткой медово-уксусной улыбкой. Рената сделала заказ с артикуляцией, звучащей, как еда, сама по себе еда.

Поданная еда оказалась не слишком хорошей — очень жирная рубленая свинина с белой соленой капустой, сыр, пумперникель^[52]. Впрочем, еды было много, и Эдвин, как собака, ринулся к своей тарелке. Рената кидала в рот белую капусту, приговаривала:

— Fabelhaft^[53], — впивалась в черный хлеб зубами, будто пробовала

на зуб монету, будто пробовалась на роль Медеи в кино. Тут ввалился запыхавшийся Гарри Стоун, схватил Эдвина, начал тянуть, как завязшего в зыбучих песках.

— Скорей, — сказал он, — идите скорей. Закон. Закон идет. Закон видели. Идите ресь говорить. Закон, я вам таки говорю. — Подвижное лицо его выражало смертельную муку, глаза были глазами всех попавших в западню животных на свете.

— Речь? Закон? Что это значит?

— Узнаете на месте. Потом будете спрашивать.

Эдвин поднялся, и отчаявшийся Гарри Стоун потащил его.

— Дорогой мой, — сказала Рената, — заплатите вы. Деньги оставьте вы. Принесу сдачу я, будет обед закончен когда. — Эдвин, подчиняясь спешному призыву Гарри Стоуна, бросил на стол мятый фунт и выбежал.

— Вон, — сказал Гарри Стоун. — В консе улисы. Не бегите. Идите степенно, как будто бы настояссий перфессер.

— Но я и есть профессор.

— Не спорьте. Распроклятая идея Лео. Треклятый клуб. Сам Иисус Христос, дерзи Он этот клуб, не принял бы худсего смертного мусенисества. Ну-ка, идите прилисьно и медленно. Как тот, которым там себя называете.

— Откуда вы узнали, что я в той закусочной?

— Сутите? Она десять раз на день торсит в той старой боське с кислой капустой. Знал, куда она направилась, думаю, вас с собой потассила, раз у вас есть монета, которую мозно спустить. Ну, вот. Вон идут двое гадов. — Подходя к дверям клуба, Эдвин ярдах в пятидесяти увидел двух крупных мужчин в тяжелых ботинках, носивших штатское, как форму. — После вас, перфессер, — сказал Гарри Стоун. Миновав входную дверь, они, расшвыривая старый мусор и обрывки газет, рванули к подвальной лестнице, вниз по которой был сдернут споткнувшийся Эдвин. Вот и сырой подвал с двумя низковольтными лампочками, клуб, однако, уже и не клуб. На стойке, прислоненная к пустому ящику из-под минеральной воды, стояла школьная доска. Лицом к доске на стульях в два ряда смиренно сидело с дюжину личностей с сомнительной репутацией. Музыкальный автомат накрыт старым бильярдным сукном. Никакого спиртного не видно. Лео Стоун громко зааплодировал при появлении Эдвина и тоном старшего приказчика молвил:

— Очень рад, что вы нашли возможность, доктор. Публика с недержанием вас ожидает. — На потолке тяжело барабанили большие грубые башмаки. — Хрен им, — сказал Лео Стоун, глянув вверх. И

громким серьезным культурным тоном обратился к аудитории: — Нам выпала неоценимая невыносимая честь, — видно было, одно время он выступал на сцене, — приветствовать, я полагаю, доктора Ливингстона, зачесавшегося среди нас. То есть доктора Прибора, блаженной памяти. И, возлюбленные мои братья, доктор он не по сифилису, пусть даже от меня нынче пахнет подручным доктора по сифилису. — Он деликатно принялся к своему левому лацкану. — Все шансы-шмансы на успех, а? — расплылся он в улыбке. И серьезней продолжил: — Док хочет вас обрисовать, то бишь вам адресовать кое-что, и я могу поклясться, бывал он и по приличным адресам. Исполнял свое знаменитое на весь мир представление перед герцогом Коннахта, принцем Уэльским и в прочих публичных домах. Немного похлопаем доку двумя руками, а если найдутся, то всеми тремя. — Четверка в башмаках, тяжело топая, уже неуклюже спускалась по лестнице. Эдвин оглядел свою аудиторию, узнал улыбающуюся бородавчатую Кармен; девушку с распущенным ртом и с куделью на голове, похожую на шлюху, на смущенную деревенщину, или типа того; узнавал, кажется, разнообразные кариозные рты, немецкую овчарку и прочих, чье присутствие на лекции по филологии обычно не ожидается.

— Леди и джентльмены, — четко, уверенно начал Эдвин, — диалект ли кокни? — При этом собака, сидевшая с высунутым языком, закрыла пасть и полностью сосредоточила внимание на Эдвине. — Все зависит от того, что мы понимаем под диалектом. Полагаю, большинство из нас понимает под диалектом форму языка, свойственную определенному региону, — составную часть языка, так же, как регион — часть страны, — обладающую характеристиками, непосредственно связывающими ее со стандартной версией языка, по отличающуюся от стандарта фонетической системой, словарем и особенностями синтаксиса и морфологии, которые вряд ли можно найти в любой другой форме языка. Нельзя, разумеется, отрицать отражения одного диалекта в другом, наряду с отражением одного региона в другом. В конце концов, жизнь — континуум, а язык — аспект жизни. — Глаза аудитории, прежде стеклянные, теперь остро глянули на подвальную дверь, на пороге которой стояли двое грузных мужчин, жуя воображаемые сигареты. — Важный аспект диалекта, — продолжал Эдвин, — заключается в его претензии на серьезное восприятие в качестве стандартной версии языка, на равную со стандартом древность, на развитие в соответствии с теми же фонологическими законами и принципами семантических изменений. Ибо что, леди и джентльмены, дает стандартной версии языка, — например, скажем, королевскому английскому, — право

претендовать на особое уважение, скажем, на гегемонию? Безусловно, не какие-либо присущие ему особенности, — только факт долговременного его использования наиболее влиятельными в стране людьми.

— Что, — спросил один полисмен, вероятно сержант, — тут происходит? — Он был крупней, старше, источал больше властных полномочий.

— Лекция, — объяснил Эдвин. — По филологии. — Близнецы Стоун сохраняли спокойствие.

— Сдается мне, дело тухлое, — сказал сержант. — И я не с тобой разговариваю. Я разговариваю с содержателем заведения, кто б он ни был.

Эдвин разозлился. Это был его парад.

— В данный момент, — заявил он, — вы стоите в лекционном зале и прерываете лекцию. Будьте добры завершить свое официальное дело, если таковое имеется, и позвольте мне продолжать.

— Это что еще за разговор, — сказал сержант. — Дело тухлое, и я с тобой потом разберусь. — Он ткнул пальцем в сторону Лео Стоуна. — Ты, — сказал он. — Я тебя знаю.

— Вы ко мне обращаетесь или к собаке? — учтиво уточнил Лео Стоун.

— Ты знаешь, к кому я обращаюсь, — сказал сержант. — Не лебези со мной. Мы с тобой слишком близко знакомы.

— Вы, — спросил Гарри Стоун, — ему угрожаете?

— Держи пасть на замке, — проворно бросил Лео. — Да? — обратился он к сержанту.

— Пришла информация, — сказал сержант, — согласно которой у нас имеются все основания думать, что тут свободно продается спиртное в любое время, больше того, заведение это используется для незаконного сбыта наркотиков, продажи и скупки краденого и контрабанды, а также пользуется дурной славой. Вот, — заключил он.

— Убийств мы тут таки не допускаем, — сказал Гарри Стоун. — Мезду просим, узе кое-сто.

— Тебя не спросили, — сказал сержант. — Предъявлю вот тебе обвинение в препятствовании властям. Чего мне хочется знать, так это чем вы тут все занимаетесь?

— Просвещаемся, — сказал Лео Стоун. — Просвещение противно невежеству, а люди образованные противны необразованным, если вы меня понимаете.

— Я не затем сюда пришел, — сказал сержант, — чтоб мне всяческими сарказмами мешали, препятствовали и противодействовали исполнению служебного долга. — И с озабоченным видом переключился на Эдвина. —

А это, кстати, кто такой? Никогда его раньше не видел. Чем он промышляет, хотелось бы знать.

— Меня зовут, — представился Эдвин, — доктор Прибой. Промышляю лингвистикой.

— Не нравится мне это, — сказал сержант. — По-моему, не очень-то вы похожи на доктора. В пижаме и в этой вот шапке на голове.

— Эксцентричность, — разъяснил Лео Стоун. — Как человек образованный, он должен быть эксцентричным. Правильно? Впрочем, может, полиция не часто сталкивается с образованными людьми.

— Это, — впервые высказался другой полисмен, — несправедливые твои слова.

— А пускай он докажет, что доктор, — потребовал сержант. — На нем и носков тоже нету.

— Токо сто, — пояснил Гарри Стоун, — с больнисьной койки. — Осознав, что сказал правду, он несколько секунд держал рот открытым.

— Вот, — сказал Эдвин, — мой диплом. — Вытащил свои корочки; сержант скептически их изучил.

— Может, липа, — предположил он. — Не вижу особого смысла. — Протянул их обратно. — Давайте, — сказал он. — Продолжайте речь. Поглядим, много ли знаете.

— В фонологическом смысле, — продолжал Эдвин, — кокни представляет собой диалект, и характерные для него фонемы привлекли пристальное внимание фонетиков. — Публика сидела тихо, ионе сводила глаз с представителей закона. — Однако его строй и словарь не имеют существенных отличий от стандартной формы языка. Это вполне естественно, ибо кокни — речь определенного района столицы, а стандартная форма ведет происхождение от средневосточного диалекта, на котором, естественно, говорят здесь, в Лондоне. Характерные формы кокни не диалектические, а целенаправленно и сознательно искаженные варианты стандартных форм. Возьмем рифмованный сленг...

— Если, — заметил сержант, — вы читаете лекцию, надо читать настоящую лекцию, не припутывать сленг. Ладно, — объявил он всем. — Мы пошли. Только тут творится чего-то совсем тухлое. Очень уж поганая собралась тут компания образование получать, да особенно образование вот такого вот типа. — Для Эдвина побережен был особый подозрительный взгляд. — В следующий раз, — пообещал сержант, — так легко не отделаешься.

— Возьмем, например, слово *arse*, — громко предложил Эдвин. — Оно превратилось в *bottle and glass*^[54]. Таким образом, это форма апокопы^[55] с

целью ввести в заблуждение. Но и само слово bottle прошло через тот же процесс, превратившись в Aristotle. Вновь прибегнув к апокопе, получаем в конце концов aris. Вот как изначально возникло это слово, так что в целостном процессе, видимо, необходимости нет. Кстати, я выбрал весьма исключительный случай, но на его примере вы видите...

— Случай точно исключительный, — согласился сержант. — Значит, это и есть ваша лекция? Грязь и непристойность. Так я и думал, тут что-то неладное происходит. Все получили предупреждение, — предупредил он. — Просто посматривайте за собой, вот и все. — Мужчины тяжело удалились. Четверка в ботинках поднялась по лестнице, снова послышалась на потолке, потом топот утих. Аудитория облегченно вздохнула, разбилась на отдельных сомнительных типов с вонючими ртами, воющих насчет выпивки. Эдвин окликнул их:

— Стойте! Никто вам разрешения не давал. Я класс не распускал. — И стукнул кулаком по дощатой стойке.

— Все в порядке, перфессер, — сказал Гарри Стоун. — Полегсе теперь. Вы свое дело сделали. Хотя, — оговорился он, — не надо бы таки употреблять это самое слово. Всему есть свой предел, как говорит сержант. Мозно было бы вместо него какое-то другое сказать. Это слиском.

Глава 16

У входных дверей был выставлен дозорный — молчаливый человечек с напряженным лицом герцога Виндзора, — и прерванная выпивка возобновилась. Эдвин, однако, надулся.

— Неодушевленный предмет, — мрачно изрек он. — Нечто использованное, вот что я такое, нечто использованное, а потом выброшенное.

Гарри Стоун, толкнув его, страстно сказал:

— Вам ессе выпадет санс, хоть мы надеемся, сто нет. Если закон снова явится, все это отребье опять будет слусать, а вы продолжайте, где остановились. А покуда, — предложил он, — смотрите на всех этих пьянис, как на благодарных усясшихся, рассевшихся перед вами за стойкой. Надо их напоить, — лихорадочно говорил он, колотя Эдвина. — Быстро всех напоить. Стобы в осереде никого не торсяло, если мы вдруг получим сигнал.

Близнецы Стоун, впрочем, старались выразить Эдвину благодарность, ловко суетясь. Чтоб доставить ему удовольствие, рассказывали анекдоты, сомнительные байки, подсыпая сырые автобиографические куски. Оба были, коротко говоря, с Востока. Оба служили в торговом флоте. Оба ничем долго не занимались. Лео был одно время ребенком-артистом, играл в «Питере Пэне» в гастрольных поездках, и — до ломки голоса — дружком мужчины, игравшего мистера Дарлинга. Он готовился в комики, был каталой, фиктивным санитарным инспектором, официантом, матросом, торговал на рынке средством от облысения; продавал вразнос, шустро вставляя ногу в открытую дверь, ворованные энциклопедии, японские рубашки и собачий корм; жарил чипсы из картошки на машинном масле, держал клубы, банкротился. Гарри служил у букмекера на побегушках, корабельным стюардом, охотно поставляя секс вместе с утренним чаем; мойщиком посуды, поваром; разносил рождественские открытки, жил на содержании, натаскивал грейхаундов^[56], торговал в розницу дешевыми летними платьями, был официантом железнодорожного вагона-ресторана, помощником в рыбной лавке, поставлял нелегальным колбасникам колбасную оболочку, демонстрировал действие пятновыводителя. Но хотя каждый в основном шел собственным путем, зов близнячества, — который глубже любви, — нередко сводил их в катастрофических предприятиях дома и дважды за рубежом. Когда предстояло держать ответ, избирался, как

правило, Лео. Тюремную жизнь он считал сносной при условии кратких и не слишком частых отсидок, — страсть к подобному мазохизму шла из дома рабства, из земли египетской.

Гарри рассказывал о победах над богатыми старыми телками, когда он был красивый, с полной головой курчавых волос; об оживлении слишком смирных грейхаундов путем укола, об усмирении оживленных грейхаундов путем доброй выпивки; о том времени, когда он был единственным жидом в Лондоне, вступившим одновременно в фашистскую и в коммунистическую партию; о краткой утренней возне с медсестрами-австралийками в солдатских бараках во время войны; о том, как распознать свежесть селедки; о технике игры в крестики-нолики; о своей встрече однажды с палачом-сомалийцем, оплакивавшим невозможность отомстить своей жертве, которая *in articulo mortis*^[57] плюнула ему в глаза. Лео рассуждал о влюбчивости; о том, как важно, что будет потом, и об особой роли команды на корабле; о том, как отличить орла от решки по чистому звуку; о частной жизни шекспировских актеров; об извращениях в Гамбурге; о тайской акробатке, с которой он жил; о великих гангстерах вроде Большого Гарри, Сноба Тони, Шустрого Германа и Пирелли; о Квэрте Юиопе, Короле Пишмашинки. Спиртное тем временем кончилось, из темных боковых дверей были раздобыты бутылки с неизвестными этикетками, а Шейла не появлялась. Притащилась Рената, опьяневшая от кислой капусты, шлепнула на стойку сдачу Эдвина и объявила:

— Себя теперь куплю я для. Доппель джин. — Эдвин все больше злился, а за стойкой бара раскатывались и звенели четыре разных акцента.

Как раз в тот момент по лестнице, без труда миновав дозорного, спускались четверо членов мафии, толкавшей котлы, о чем шепотом сообщил Гарри Стоун. Эдвин, ученый филолог, знал, что такое «котлы», — дешевые контрабандные часы с гарантированным на пару дней ходом. Четверо мужчин, хоть и пьяные, хорошо выглядели для своего промысла. Один — светловолосый, с крупным костяком, красивый, как кинозвезда, в твидовом костюме и в очень хорошем реглане, однако с топкими губами и безумными глазами. Другой — огромный, бочкообразный и как бы готовый заплакать, — полюбился Эдвину благодаря тому факту, что тоже был в пижаме под хорошо заглаженными складками спортивной куртки (подпоясанный шнуром от пижамы, как бы тянувшимся из его собственного пупка), в распушенном галстуке, в дождевике. Третий, очень угрюмый, нес большой громыхающий «гладстон»^[58]. Четвертый по имени Джок был сильно изуродован, должно быть в драках в Горбалсе^[59]. Эти

четверо принесли свою выпивку — виски в плоских фляжках — и, похоже, пришли только ради компании. Красивый блондин с безумными глазами заказал музыку.

— Не сегодня, — взмолился из-за стойки бара Лео Стоун. — Пришлось вырубить на сегодня, Боб. Нас посетили.

— Хрены моржовые, — молвил Боб, красиво раскачиваясь. Взглянул на Эдвина и сказал: — Тогда ты давай. Пой.

Но беззвучно возникший безобразный смуглый человечек обратился к Бобу:

— Нобби чего схлопотал?

— Бесплатный курорт, — сообщил угрюмый носильщик «гладстона».

— Чего? Без штрафа, без ничего?

— Угу.

— Пофартило, язви его в душу. — И смуглый безобразный мужчина исчез.

— За что Нобби схлопотал три месяца? — любопытствовал Эдвин.

— Попался, когда на нем было на штуку котлов, — пояснил Боб. — Вот где его ошибка, ясно? Попался вместе с ними. Ни лицензии на импорт, ничего. А что, — сказал Боб, — тебе известно про Нобби? — И приблизился к Эдвину, подозрительно, но зачарованно.

— Ничего, ничего. Всегда интересно услышать, как кто-то накрылся. И все.

— Почему? Ты чего натворил?

— Был звонком на малине, — без колебаний объявил Эдвин, с радостью смакуя слова, ведь слова для филолога — просто игра.

— Чего? Кого отмазываешь? Кстати, кто ты такой? Зачем в таком прикиде? Под какой кликухой ходишь? — Боб разволновался. — Ты что, чокнутый, да? По глазам скажу, чокнутый. Я сам чокнутый. Ты чего любишь больше всего? Давай выкладывай. Какие дела любишь? — Глаза его возбужденно сверкали. Эдвин все больше пугался. И спасся, шмыгнув за бочкообразного мужчину. Бочкообразный мужчина сказал:

— Никто не любит бедного старика Эрни. Никто не поговорит с бедным стариком Эрни. — В правой руке он держал пинту «Джонни Уокера». — Даже родная мать теперь со мной не разговаривает. Бедный старина Эрни.

— Ты подальше отсюда вали, — сказал Боб. — Никто тебя не просил свое толстое пузо поперек дороги совать. Обмылок здоровенный. Мы с ним разговариваем. Где твои долбанные манеры?

Эрни скосил глаза, приготовившись плакать.

— Вот видите, — занял он. — Никому я не нужен.

— Мне нужен, — утешил его Эдвин. — Ладно, будет тебе.

— Тебе? — вскричал Эрни с устрашающей радостью. — Будешь дружить со стариком Эрни?

— Ничего в нем для тебя хорошего нету, — раздраженно заметил Боб Эдвину. — В нем вообще нету ничего хорошего. Он нормальный.

— Мы с ним, — с достоинством сообщил Эрни Бобу, — только что с койки встали. Сам увидишь, просто посмотри. Только он больше в койке лежал, потому что у него пижама грязней, чем моя. — Он обнял Эдвина и сказал: — Если ты друг старику Эрни, можешь назад никогда не оглядываться. Я тебя к своей маме домой приведу, скажу, что ты дружишь с Эрни, и она с тобой тоже будет дружить.

— Почему, — любопытствовал Эдвин, — она не хочет с тобой разговаривать?

Эрни отшатнулся, обиженный. И заскулил:

— Зачем ты это сказал, зачем ты мне напомнил? — По расчетам Эдвина, было ему, как минимум, сорок пять. Он вдруг вспомнил то, о чем некогда сообщил ему А. С. Нейлл: провинившийся ребенок, укравший часы, вскрыв их, символически обнаруживает, откуда берутся дети. Котлы в роли матери — неплохое название для чего-нибудь. И спросил:

— Ты часы любишь?

Эрни становился серьезней, старался контролировать выражение своего лица.

— Хорошие люблю, — сказал он. — По-настоящему хорошие, швейцарской ручной работы, с кучей драгоценностей и с каким-нибудь настоящим ходом. А вот это вот барахло просто с рук надо сбыть, вот и все. — Покопавшись в кармане дождевика, предъявил тикающую пригоршню. — Можешь взять любые, — предложил он, позабыв предыдущие свои слова, — за три хруста. Потому что сказал, что подружишься с Эрни. — Мужчина из Горбалса, на которого страшно было смотреть, подошел и, прищурясь, дыхнул на котлы.

— У меня нет трех хрустов, — признался Эдвин, — ни одного хруста, ни полмонеты, ни боба, ни, — перечислял он, — одной-единственной сороки^[60]. Я ничего купить не могу.

Мужчины из котельной мафии с тайным интересом рассматривали его, взвешивали, оценивали. Боб схватил Эдвина за полу пижамы и чуть-чуть оттащил в сторону.

— Хочешь, — спросил он дрожащим голосом, — монету заколотить, а? У меня всего навалом. У меня в машине два цельных копченых лосося.

У меня пузырь *французского* шампанского. Вот этот внутренний карман набит хрустами. Пошли со мной, — уговаривал он, жарко дыша на Эдвина, — вот посмотришь, чего я тебе дам, вот увидишь, чего я для тебя сделаю, если ты просто... — Но тут немецкая овчарка, принадлежавшая блондинке с бульдожьей физиономией, набросилась на Ниггера, хоть и играючи. Ниггер щелкнул зубами, и овчарка издала такой звук, будто дунула в горлышко большой бутылки. — Собаки, — завопил Боб, запахнувшись в реглан, встал на цыпочки, словно уклонялся от набегавшей волны. — Не люблю собак. — Собаки окружали его маленьким яростным морем, коричневым, черным, с кромкой белой пены на мордах. Боб издавал короткие женские визги, брыкался, но не попадал. Гарри Стоун сказал:

— Не надо пинать вон того распроклятого пса. Я не хосю никаких неприятностей, токо ты не пинай вон того распроклятого пса.

— Тогда позови их. Злющие зверюги. — На сей раз Боб носком ботинка попал в зад овчарке, в хорошо откормленный и потому нечувствительный зад. Однако блондинка-бульдожка понесла на Боба грязную женскую брань, рядом с которой мужская ругань — простой детский лепет. Мрачный мужчина и страшного вида мафиози из Глазго приготовились к неприятностям. Тут по лестнице обрушился страж с воплем:

— Идут! В конце улицы! Быстро выпивку прячьте!

— Стулья! Стулья! — кричал Гарри Стоун. — Стулья скорее расставляйте!

Недееспособных в подвале пока не имелось. Быстро опрокидывали спиртное, совали в карманы и сумочки пустые липкие стаканы. Толкавшие котлы мафиози были глупые, их пришлось погонять, грубо организовывать. Лео Стоун у стойки бара сгреб бутылки из-под джина, бутылки из-под виски, сунул Лесу у музыкального автомата. Лес принял их с возгласом:

— Алле ап! — и спрятал под бильярдным сукном. Овчарка уныло рыдала, утащенная за ошейник на свое место в классе. Ниггер уполз на брюхе за стойку бара через откидную дверцу. Гарри Стоун бешено разгонял сигаретный дым «Справочником для леди».

— Давайте, перфессер, — пропыхтел он. — Васа осередь.

— Теперь мы рассмотрим, — сказал Эдвин, чувствуя, что сосредоточиться нелегко, — то, что филологи называют народной этимологией. Я напишу слова на доске. — Ему сунули кусок портновского мела. Он не сумел схватить, наклонился и поднял мел с пола. Ощутил слабость, недоумевая, почему она как-то кажется вполне естественной. На миг ухватился за стойку, потом лучше себя почувствовал. Кто-то нацарапал

грубое слово на школьной доске. Эдвин стер его с помощью своей слюны. Затем тщательно и внимательно написал: НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ.

— Этимология, — сказал он, — занимается происхождением слов, то есть истинным происхождением, ибо «этмос» по-гречески значит «истинный». Под народной этимологией мы понимаем попытку неграмотных ввести в разговорную речь иностранное или непривычное слово, меняя его экзотическую составляющую на нечто более знакомое с виду... Вот каким образом неграмотные стараются убедить себя, будто действительно иностранное — вовсе не иностранное: они объясняют и устраняют иностранный элемент, вообразив его родственным чему-то уже хорошо известному. Существует множество разнообразных примеров народной этимологии. Возьмем, к примеру, penthouse^[61]. — Пока он писал на доске это слово, вновь послышался топот четверки. Повернувшись к аудитории, Эдвин увидел, что все затуманенные взоры устремлены в потолок. Четыре пары тяжелых ног топали к подвальной лестнице. — В слове penthouse, — сказал Эдвин, — содержится знакомый элемент: house^[62]. Однако оригинальная форма — pentice — ведет происхождение от французского arpentis, ведущего происхождение от латинского слова arpendicium, которое означает «нечто добавленное, придаток». Окончание — ice заменили на house, поэтому слово кажется знакомым.

Ноги упорно топали вниз. На пороге вновь встали двое здоровяков в штатской форме, жевавшие воображаемую сигару.

— Аналогичным образом, — сказал Эдвин, — среднеанглийское слово primerole было отброшено в пользу primrose^[63], потому что второй его элемент уже полноправно существовал как название цветка. — Младший полисмен трудолюбиво списывал в блокнот: народная этимология, мансарда, первоцвет. Подозрительно, намек на девушек по вызову. — И, — сказал Эдвин, — конечно, нельзя упустить Jerusalem Artichoke^[64]. Jerusalem — народное искажение итальянского girasole, что означает «поворачивающийся к солнцу». Фактически, это растение одного рода с обычным подсолнухом. — Он сделал паузу. В этот момент что-то должно было произойти, что-то важное. — А еще есть causeway^[65], от старофранцузского saucie, произошедшего от латинского calx, что значит мел. Значит мел, — повторил он. — Значит мел.

— Ладно, — сказал сержант. — С нас, по-моему, хватит. Мы были в СЛГ^[66], там говорят, ничего не слыхали про такую школу. По-моему, дело тухлое.

— Ох, заткнитесь, — сказал Эдвин. И аккуратно упал в широкую

беспокойную черноту. Очнувшись, увидел склонившиеся над ним лица, не деликатно-коричневые бирманские, а грубо-белые лондонские. — Пока можно, почтим же фундаментально, — процитировал он, — человека, стоящего вертикально. — И снова отключился.

Глава 17

Сознание Эдвина мерцало, включаясь и выключаясь. Его несли вверх по лестнице два полисмена, от одежды сержанта пахло сыростью грибного дождя. Слышались голоса, толкались люди. Положенный на ступеньке под дверью, он, к своему изумлению, увидел мокрый от дождя тротуар. Потом пошли разговоры о том, куда, как, машины, «скорые», больницы. Эдвин полностью очнулся при этом последнем слове, чувствуя себя намного лучше, чем за все время после побега, словно, пока он за собой не присматривал, завершился некий глубинный процесс исцеления. Два полисмена подумывали воспользоваться машиной Боба; Боб перетаскивал с заднего сиденья на переднее большую коробку, откуда торчала сливочно-золотая французская головка; взоры на миг отвлеклись; по коридору к входной двери как раз шел Гарри Стоун. Эдвин тихо, быстро поднялся и бросился за угол.

— Сто за сертовссину вы с ним сотворили, проклятье? — возопил приближавшийся голос Гарри Стоуна. Эдвин высмотрел переулочек. — Вы ведь таки, будь вы прокляты, за него отвесяете. — «ДЭН ЛЮБИТ БРЕНДУ ШЕРРИФФ», гласили меловые граффити. Меловой человечек висел на меловой виселице. Мел, мел, calx. В переулке стояли мусорные баки. Эдвин спрятался за одним, очень низко пригнувшись. — Мозет, — сказал голос Гарри Стоуна, — он прысется за каким-нибудь мусорным баком. — Эдвин вскочил, помчался. Улица в конце переулка звенела криками газетчиков, люди шли домой с работы, светился синий знак подземки. Переулок повернул налево — еще баки для мусора и граффити, — Эдвин побежал по нему, возвращаясь на покинутую им улицу, но на сей раз напротив «Якоря». — Эй! — слышал он. — Иди суда, распроклятый дурак! — В «Якоре» горели огни; дверь, однако, еще не открыли. Эдвин увидел, что переулок слева от «Якоря» ведет к захламленному двору лесопильной компании. Он помешкал, обнаружил близко за собой Гарри Стоуна в двойном экземпляре, а еще ближе — грузовик, который только что вывернул с людной, газетной улицы, собираясь въехать во двор. — Полминутоськи, — провизжал Гарри Стоун шоферу.

— Будь спок, браток, — ответил шофер. — Не впервой. — И принялся въезжать в переулок, выворачивая кирпичи, корежа крылья. Потом сообразил, что застрял. Эдвин теперь на какое-то время был защищен от преследователей. Ткнулся в дверь бара-салуна, но она пока была закрыта.

Грузовик добивался успехов: выправился под крики гнавшихся за Эдвином, грохот падения каменной кладки и лязг металла, почти приготовился чистенько въехать. Эдвин заскочил во двор лесопилки, безнадежно огляделся. Слева циркулярная пила, планки, необработанные бревна, рабочий в комбинезоне и в кепке, с «Вудбайном»^[67].

— Ты чего, корешок? — обратился он к Эдвину. Эдвин глянул направо: деревянный барак конторы, внутри светло, видны скрученные, висевшие на стенах счета, схваченные зажимами; пожилой мужчина за столом трудолюбиво вытащил верхнюю челюсть, серьезно на нее взглянул, сунул обратно, покорно качнув головой. Справа от конторы стена, окружавшая двор, невысокая, вполне можно перелезть. Эдвин добежал до нее, вставил носок башмака в мелкую зазубренную дыру, услышал от рабочего: — Нельзя, кореш, тут уж никак нельзя, — подтянулся на руках, утвердился коленями на верхушке степы, обнаружил с другой стороны густо заросший сад, перекинулся. Пару секунд отдохнул, прислонившись к стене. В шеренге домов впереди стоял один четырехэтажный с цоколем. Сумерки почти перешли в темноту. Пробираясь среди буйной травы и вьюнков, он едва не упал, споткнувшись о необъяснимый моток колючей проволоки; бутылки хором колокольчиков прозвенели какое-то соло; потом приблизился к открытой черной двери подсобки с ярчайшей лампочкой. Над раковиной склонялся бледный юноша с очень жирными черными волосами, в женском фартуке с оборками, чистивший под струей воды лук, но ослепший от слез. Эдвин прокрался через подсобку, через темную кухню, в коридор. Из комнаты слева по коридору послышался голос:

— Это вы, мистер Доллимор?

Эдвин миновал карточку с расписанием церковных служб, другую с надписью «УЛИЧНЫЕ ГРЕШНИКИ», карту Лондона, настенный телефон, открыл парадную дверь с табличкой «МЕСТ НЕТ», висевшей на оловянном гвозде.

Улица была далеко не пуста — станция подземки только что выпустила пассажиров, полный подъемник, — но вроде бы конкретно никто не выискивал бежавшего пациента в пижаме и вязаной шапке, с длиннущей — Эдвин ясно видел под уличным фонарем — прорехой на штанине. Пошарив в правом брючном кармане, нашел только двухпенсовик. Эта немецкая сука истратила сдачу с фунта на доппель джин. Где Шейла? Эдвин почувствовал страх и жалость к себе, заплутавшему страннику, которому ночь представляется не покровом, а изготовившимися к борьбе руками. Вот теперь на другой стороне улицы встал, совершая обход, полисмен в форме, чтобы оглядеть Эдвина. Он резко

зашагал к подземке, вошел в вестибюль с резким светом и звяканьем пенни, потом последовал за обладателями билетов к подъемнику. Напротив подъемника стояли в ряд телефонные автоматы. Один пустовал. Эдвин вошел, увидел по обе руки молчаливых беседовавших, по-рыбьи бормочущих в трубки, удостоверился в плотной закрытости собственной стеклянной двери и взял паузу на раздумье. Автоматически нажал кнопку возврата, но механизм сухо, бессодержательно щелкнул, и, на миг оглянувшись, Эдвин увидел уже начинавшую оформляться очередь, — женщину средних лет и мужчину-кролика за ней. Странно. У других будок никто не ждет. Чего этому кролику надо? Он сиял телефонную трубку, набрал, — припомнив своего Джеймса Джойса, — ЭДЕМвилл-0000 и попросил Адама. Никому не дал шанса заговорить.

— Ты, — сказал он, — меня во все это втравил. Не будь тебя, и меня не было бы. Как там яблочко наливное, жена твоя? Как твои кровосмесительные сыновья? Всем передай мои наихудшие пожелания. — В трубке изо всех сил гудел гудок. Эдвин просил соединить его с разными прочими библейскими персонажами. Женщина средних лет постучала в стекло собачьей головой ручки зонта. Эдвин это видел, видел, как кролик-мужчина цапнул ее сумочку и побежал, видел мгновенное изумление женщины, ошеломленный крик, нетвердую походку, взмахи зонта, а потом увидел возглавившего теперь очередь Боба, толкающего котлы мафиози с безумными глазами, готового к долгому ожиданию.

Эдвин поочередно сказал пару слов Ездre, Аввакуму, Илии, Иеремии, Исааку, потом почувствовал слабость, голод, усталость. Боб сильно забарабанил в стекло. Эдвин открыл и сказал:

- Да?
- Пошли лучше со мной. Вон у меня машина.
- Не хочу я с тобой идти.
- Лучше пошли. Либо я, либо закон.
- При чем тут закон?
- Закон думает, ты свихнулся. А я знаю, что не свихнулся. Ты, по моему, чокнутый, точно так же, как я. Пошли лучше со мной.
- Зачем? Чего тебе надо? Что ты собираешься делать?
- У меня два копченых лосося в машине. По никеру каждый. По моему, в целом не очень-то дорого.
- Я не слишком люблю конченного лосося.
- У меня в холодильнике еще кое-чего. Но копченый лосось называется деликатес.
- Слушайте, — прозвучал из-за Боба раздраженный голос. — Идите и

разговаривайте про копченого лосося где-нибудь в другом месте. Я хочу позвонить своей жене, вот что.

С ленивым взглядом в стиле мафиози Боб оглянулся, сказал:

— Иди в задницу, — схватил Эдвина за правую руку и выдернул через порог из будки. Эдвин видел лучший шанс на побег в отказе от сопротивления. Вестибюль станции был теперь полон, билетные автоматы весело пели монетную песню. На станцию как раз входил молодой горожанин, позаимствовавший котелок Часпера. Котелок был на нем, но, увидав Эдвина, он сорвал его со словами:

— *Вот* вы где.

— Я страшно виноват, — сказал Эдвин, — но у меня просто нет фунта, вашего депозита. Боюсь, я потратил его. Может, вы шляпу завтра вернете?

— Ох, — сказал молодой человек. — Мне особенно нужен тот самый фунт. Правда, не сегодня вечером, но определенно завтра утром. Понимаете, я работу нашел. Шляпа очень помогла. Я заглядывал в паб, а вас не было. Собирался попозже зайти.

— Ладно, ладно, — нетерпеливо встрял Боб. — Если вопрос об единственном никере... — Чтоб вытащить бумажник, он отпустил руку Эдвина, тот воспользовался возможностью и рванул. Прорвался сквозь медлительных молокососов, входивших в *Ristorante Italiano*^[68], а потом они превратились в преграду, преисполнившись негодования при попытке Боба пробиться. Эдвин пробежал ДИСКОВАР, магазинчик с рекламой ТИНДЖИНСОВ и свернул за угол на покатую боковую улочку с пабом. Тормознуло такси, а его пассажир открыл дверцу.

— Быстро лезь, — сказал Лес. — Скорей давай. Уже опаздываю. Занавес поднимается, будь он неладен.

Эдвин влез, благодарно пыхтя.

— Чем меньше видишь того содомита, тем лучше, — изрек Лес. — Ясно, чего ему надо. Тебя куда подкинуть?

— Возьми меня с собой, — попросил Эдвин, — ради бога.

— Плоховато тебе было, да? — сказал Лес. — Помнишь, вырубился? Надрался, вот в чем твоя проблема. Не надо бы так пить, только что из больницы. Думаешь, можешь работать, или еще не способен?

— Когда? Сегодня? А что за работа?

— Массовка. В конце третьего акта. Когда линчуют бедного шибздика. Его линчуют, а он все поет. Гляди, — сказал Лес, оглянувшись в заднее окно, — его машина. Уж он не отвяжется, это я тебе точно скажу. Когда ему надо чего-то, своего добьется. Если не достанет тебя, так не по своей вине. — Эдвин тоже взглянул, увидев только фары. — Точно он, —

подтвердил Лес. — Его номера. Ладно, — принялся он инструктировать Эдвина. — Как только приедем, ныряй. Полный порядок, пустят, скажи, мол, из университета. Оттуда толпу берут. А я того придурка попридержу. Боб Каридж его фамилия. Каридж^[69], а? Не смешите меня. Законное название для хорошего пива. — Покопался в кармане и выудил горсть меди, чтоб расплатиться. — Набрал в баре в картонной коробке под стойкой, — пояснил он. — Пока остальные сопровождали навверх твое тело. Взаимы, конечно. Завтра или послезавтра отдам.

Такси остановилось среди запахов, которые — Эдвин знал — должны были принадлежать хризантемам, капустным кочерыжкам, только нос его клялся, будто это мятные капли. Такси, трепеща, ожидало, пока Лес не спеша пересчитывал медь на ладони. Машина на хвосте, видно, замешкалась; вероятно у светофоров.

— Теперь заходи, — велел Лес.

Эдвин зашел, объяснил свое происхождение и предназначение, на что ему без всякой заинтересованности ткнули пальцем на лестницу, очевидно в подвал. Подвалы играли большую роль в его жизни. Открыв рот, Эдвин оглядывал обширную оперную механику. Высоко на колосниках мухами ползали люди; поворачивались колеса, щелкали легионы рубильников. Вдали наявлялся оркестр, поверх него надрывался тенор. Закулисный хор ждал, готовясь запеть, дирижер взволнованно косился в партитуру, мужчина в ожидании сидел за органом.

— Вон туда, — повелительно сказал кто-то Эдвину, указав пальцем, и Эдвин прошел, как ему показалось, мимо мимо гигантских стен сценического пространства к подвальной лестнице.

Глубоко под землей была огромная холодная гробница, полная народу и корзин с реквизитом. Люди молодые, с высокомерным видом; явно студенты.

— Опоздал, — сказал Эдвину гибкий мужчина. — Ну, скорей, все снимай.

— Все? — Эдвин огляделся в тревоге, но женщин не увидел. Должно быть, их загнали в другую гробницу.

— Все. Включая шерстяную шапочку. — И деликатным щипком большого и указательного пальцев мужчина лично приподнял шапочку, отпрянув при виде голого скальпа Эдвина. — Ну, — сказал он, — поистине потрясающе. Знаешь, не было необходимости на такое идти, но это действительно можно использовать. Можешь безусловно выйти прямо вперед. Беда в том, — пояснил он, презрительно оглядываясь на студентов, — что у них у всех слишком много волос. Толпа неестественно

выглядит. — Студенты с дурными студенческими манерами принялись потешаться над лысиной Эдвина, но гибкий мужчина шикнул в стиле учителя. — Абсолютно, — объявил он, — ничего смешного. Вы все очень и очень молодо выглядите. Куча глупых телят, претендующих на толпу. — Студенты угрюмо надулись. Эдвин уже успел заметить, что все они одеты в разнообразные викторианские одежды. У одних были накладные усы, прочность приклейки которых они то и дело осторожно испытывали; у других бороды Карла Маркса; у некоторых даже цепочки часов на жилетках. Все в шляпах.

— Не вижу никаких волос, — заметил Эдвин. — Я имею в виду, они в любом случае в головных уборах, правда?

— Да, правда, — раздраженно признал гибкий мужчина. — Но ведь в самом конце их надо будет снять. Когда придет известие о смерти. А ты, — продолжал он, умело одевая Эдвина, — все время будешь с непокрытой головой. Слишком хорошая голова, чтоб пятнать ее шляпой. — Эдвин предпочел не спрашивать про название и содержание оперы. Музыка звучала современно; неясные британско-элгарские^[70] темы боролись с ассонансами. Можно будет у кого-нибудь из студентов узнать. Вскоре Эдвин оказался в блузе десятника, с глиняной трубкой, пастушеским посохом, в тяжелых, не по ноге, башмаках. Он тревожился о брошенной куда-то шерстяной шапке. Кроме всего прочего, эта шапочка не его, а больничная собственность. Его вымазали жирной краской, нарисовали морщины, дали седые усы для наклейки. Теперь он выглядел неопределенно старым; в толпе должен буквально сойти за старика.

Эдвин спросил насчет оперы студента-индуса. Индус тоже изображал простого работника с фермы, и Эдвин уловил, что он видит здесь оскорбительный предрассудок, связанный с цветом кожи.

— Называется, — с некоторым отвращением сказал индус, — «Пресбери Ньютон»; сочинение английского музыканта по имени Эмери Тернбулл. — Минутное молчание. — Или, — добавил он, — наоборот. Может быть, «Эмери Тернбулл» или даже «Тернбулл Эмери», а сочинил Ньютон Пресбери. — Еще помолчал, подыскивая другие возможные варианты, а потом продолжал: — В любом случае, не имеет значения. Не очень хорошо. Выдуманный эпизод американской истории. Губернатор штата влюбился в жену другого мужчины. Другой ревнует, сердится, стреляет в губернатора, когда губернатор едет в поезде выступить где-то с речью. Жизни губернатора угрожает опасность, и толпа, то есть мы, вытаскивает его, то есть убийцу, из тюрьмы и линчует под громкую музыку. Губернатор потом умирает, однако открыта новая железная дорога,

а с какими-то краснокожими заключен договор о вечном мире. Краснокожие индейцы пляшут что-то вроде балета. Очень глупо.

— Но ведь, конечно, — заметил Эдвин, — крестьяне в Америке такую одежду не носят, правда? Я хочу сказать, в Америке никогда не было настоящих крестьян, правда? — И махнул своим посохом, припоминая, были ли в Америке хоть когда-нибудь овцы.

— Негры, — прорычал индус. — Рабы, не крестьяне. А фривольность подхода ко всей теме в целом демонстрируют вот эти костюмы, которые мы вынуждены носить, — костюмы, которых в Америке никогда, ни в одну эпоху не носили. Фривольность, — изрек он более мирным тоном, — погубит западное искусство, как таковое. Возможно, тогда будет понята мелодичность и сила индийской музыкальной монодии и стилизации в изобразительных искусствах, избежавших вульгарности чрезмерного натурализма и связанных с ним ошибок. Вроде этой, — добавил он, указывая на свой собственный пейзажный костюм, презрительно вскинув коричневую арийскую голову.

Эдвин оглянулся на сброшенную одежду линчующей толпы приблизительно в пятьдесят душ, облизнулся при виде всех этих рубаш, носков, галстуков. Была даже парочка мягких шляп. Воображение буйно разыграло при мысли о деньгах, которые должны лежать в брючных карманах, фунты и серебро с жирных студенческих грантов. Он с потрясением обнаружил, что больше не испытывает брезгливости при мысли о воровстве. Потом ему привиделись парики. Этот театр должен быть ими битком набит. Он исходил слюной, жестоко изголодавшись хотя бы по внешней нормальности.

— Я сейчас, — сказал гибкий мужчина, подняв длинный указательный палец, — отлучусь ненадолго. Не хочу, чтобы кто-нибудь вышел отсюда, напился и, чего доброго, забрел на сцену посреди любовного дуэта. Я хочу, чтоб вы сидели тут трезвые. Против карт не возражаю, равно как и против любого другого *тихого* времяпрепровождения типа чтения. Но никакого буйства и щенячьих катавасий. Ясно я выражаюсь? — И ушел. Через две минуты Эдвин тоже тихо вышел со своей одеждой и обувью в тючке под мышкой. Больничная шапка исчезла. Плевать. Скоро будет парик. Его ухода никто не заметил, ибо многие занялись чем-то вроде регби с неким предметом, обнаруженным в реквизитной корзинке «Саломеи»^[71].

Эдвин тихо прошел вокруг сцены, но Леса нигде не увидел. Пока в поту менялись декорации, оркестр играл какое-то железнодорожное скерцо, а разнообразные видные американские викторианцы, — каждому из которых, по предположению Эдвина, принадлежала отдельная строчка в

вокальной партитуре, — выходили из гримерных и ждали в кулисах. Один из главных исполнителей сказал:

— Чертовски поганая опера, — с валлийским акцентом. Опера безусловно была очень длинная, если можно о чем-то судить по первому акту. Эдвин, по-стариковски прихрамывая, тяжело опираясь на посох, проковылял к гримерным. Почти все двери были открыты, все комнатки пусты, кроме одной, где тенор полоскал горло, а потом пускал утробные трели. В другой как бы жила эктоплазма в виде лент сигарного дыма. Эдвин тихо вошел туда и нашел, к своей радости, очень хорошую белую рубашку, а на радиаторе нейлоновые носки. На туалетном столике под чудовищно яркими лампами лежала стопочка подписанных фотографий. Подпись Эдвин не смог разобрать, но ему не понравилась жирная ухмылявшаяся физиономия с сознанием своей славы, и он начал высматривать, что еще можно украсть. Деньги — как-то казалось вульгарно, бесстыдно, поэтому он выбрал кольцо с подставочки для колец и опустил его в карман кафтана. Выйдя из гримерной, в нерешительности помедлил. Тут прозвучало фортиссимо хлынувшего бачка, дверь уборной открылась, оттуда выпорхнула женщина в летящем платье, демонстрируя пышную грудь; судя по крупности, видимо, героиня. Эдвин низко поклонился и занял уборную. Там разделся, надел украденную одежду. Рубашка оказалась несколько великовата в вороте, и на миг Эдвин увидел в зеркале древнюю литературную знаменитость — голова Эсхила, черепашья шея, — не так уж и плохо. Оставил блузу на сиденье унитаза, открыл дверь и выглянул. Никого.

Тихонько уходя из обители звезд, он с внезапным потрясеньем наткнулся на древнюю женщину великолепно вида, одетую в черный наряд владелицы замка и спадавшие шлепанцы.

— Ну, — сказала она, округло жуя губами, — и чего вы тут ищете?

— Парик, — честно признался Эдвин.

— А, парик, — смягчилась женщина. — Можно спросить, какой размер и цвет?

— Шляпа, по-моему, у меня — седьмой номер, — сообщил Эдвин. — Цвет... о, любой, какой вам нравится.

— Никто не спрашивает, что мне нравится или вам, — поправила старуха. — Смотря чего надо. Вы в париках не особенно понимаете, факт. Лучше пошли со мной. — Эдвин последовал за ней в кладовую с запахом спичек, который он интерпретировал как запах человеческих волос. — Форма у головы никуда не годится, — заявила старуха, по-прежнему жуя губами. И примерила Эдвину длинные волосы Адониса, каролинские

кольца, патлы Джерри Кранчера, в конце концов спросила: — Как насчет этого? — Парик сел хорошо, байронические рыжеватые завитки. Эдвин оглядел себя в старом прекрасном голубоватом зеркале. Вполне приемлемый поэт.

— Спасибо, — поблагодарил он. — В самом деле, большое спасибо.

И теперь очень заторопился убраться, однако старушка склонна была посудачить.

— Уже нету мелодий, как в старые времена, — прошамкала она, — ни по сладости, ни по душевности. Сплошной шум. — Оркестр в подтверждение грянул длинный аккорд из двенадцати нот, абсолютно разных и очень громких. — Попомните мои слова, — провозгласила старушка, — это немцы занесли заразу, Ендели, Вагонеры и тому подобные. К ранешним старым сладким мотивам никому теперь даже близко не подойти.

Эдвин попросил прощения и ушел. Потом вдруг оказался замешанным в довольно низкорослую шайку краснокожих индейцев, хихикавших перед вступлением в хор. Они замахнулись на Эдвина томагавками, и один вымолвил изысканным голосом:

— Как насчет доброго куска скальпа, старик? — Эдвин все больше и больше пугался. Это, разумеется, медработники из больницы, сплошь переодетые. Это, безусловно, Рейлтон, а вон тот вождь в массе перьев — Бегби; все специалисты по скальпам.

— Как... — приветственно начал вождь, уже явно не Бегби, но Эдвин улетучился.

На улице стояла машина, знакомая Эдвину, сливочно-золотая французская головка поблескивала под фонарем. И Боб тоже там был.

— Так и думал, выйдешь, рано или поздно, — сказал он. — Теперь поехали, в самом деле посмотрим, что там за копченый лосось. И все прочее. Покажу тебе кое-что симпатичное, — обещал он, хватая Эдвина за локоть. — Вовсе не одурачил меня, — сказал он, — хоть и столько на себя напялил. Я эти глаза за милую примечу. Чокнутые. Мы с тобой — двое чокнутых, вот кто.

Глава 18

Слабый, точно котенок, Эдвин, тише воды, ниже травы, позволил вести себя к автомобилю. Он себя чувствовал под защитой брони рубашки и носков, шлема кудрей, талисмана кольца. Однако сразу вспомнил, что кольцо осталось в кармане сценических штанов, брошенных вместе с посохом в той уборной. Боб за рулем говорил:

— Копченого лосося надо по-настоящему есть с черным хлебом и с красным перцем. Ну, я бы, наверно, выскочил по пути на квартиру купить все эти вещи, да вот не доверяю тебе, понимаешь. Может, смоешься и опять пропадешь. Я на тебя из-за этого зла не держу, да мне не надо ничего такого. — Он взял тон человека, которому дорого время. — Так что не будет у нас к копченому лосося ни черного хлеба, ни красного перца. Надеюсь, не возражаешь.

— Можно было бы, — сказал Эдвин с надеждой, — вместе сходить в магазин, правда? Там у меня ведь не будет возможности улизнуть, правда? — Ох, неужели правда, думал он.

— Нет, будет, — возразил Боб, покачав головой, печально, с вселенской усталостью. — И на светофорах. Поэтому, понимаешь, держусь закоулков. Квартира недалеко, вот так вот. Теперь скоро до дому доберемся. — Он как бы успокаивал, точно увозил Эдвина от устрашающе злой свободы. Эдвин смотрел на свободу из мчавшегося автомобиля: пианино и люстры в витринах; нечитабельный молочный плакат; тинейджеры в гроте сидят за пластмассовым кофе, больные от скуки; мертвые кремовые квадратные глаза телевизионного магазина. — Недолго теперь, — твердил Боб, как бы облегчая естественное нетерпение. — Прямо тут повернем, понимаешь, потом вой туда до конца. Вон, видишь. — Эдвин видел: квартал многоквартирных домов, построенных в довоенные дни, когда эти дома неким образом источали тевтонскую силу, а сейчас в темноте выглядели безрадостно, как огромный работный дом. — Я на самом верху живу, — сообщил Боб. — Там правда лучше. Ни у кого под ногами не путаешься. Говорят, когда-то были лифты. А теперь нету. Правда, странно, как это лифт может просто исчезнуть, да? Придется в конце концов по всем лестницам топать.

Боб остановил машину у подножия бесконечной конфигурации железных лестниц с железными перилами, с качавшейся на каждой площадке тусклой лампой. Долгий подъем, думал Эдвин, по пути вполне

может что-нибудь произойти, — легкий прыжок через первый барьер; лихорадочный стук в чью-то дверь, крик «Полиция, полиция!»; подножка Бобу, болезненное падение, трепыхающийся с ним вместе лосось; мозги Боба, вышибленные его же бутылкой, ловко стянутой из коробки. Но ничему этому не суждено было сбыться. Боб сказал:

— Первый пойдешь по ступенькам. — Сказал это еще в машине, не спуская с Эдвина пристальных безумных глаз, протянув длинную руку назад за коробкой. — А я прямо следом, чтоб никаких фокусов больше не было, понимаешь. Потому что, — пояснил Боб, — я в рукаве нож ношу и на этот раз пушу в дело. Могу, приятель, и пырнуть, и метнуть. Я теперь начеку, так что больше не пробуй меня за-долбать. Хватит с меня уже, понимаешь, твоих закидонов.

На четвертой площадке Эдвин взмолился об отдыхе на минуту. Только что из больницы, запыхался, в плохом состоянии. Безжалостный Боб погнал его наверх, хрустко ткнув горлом бутылки. А на шестой, и последней, площадке сказал:

— Вот и пришли. Я ж тебе говорил, что недолго. — Эдвин, держась за перила, глядя далеко вниз на уличные фонари, вдохнул несколько раз полной грудью разреженный воздух. — Видишь дверь, — сказал Боб. — Особое устройство. Никто не вышибет, точно. Из одного фартового дома, бомбежку выдерживает, вот так вот. В Белгрейвии^[72]. — Запыхавшийся Эдвин видел под качавшейся лампой массивную дубовую панель, молоток — потускневшую скалившуюся львиную голову. Боб вставлял большой железный ключ. Засов скрипнул, вся дверь простонала прелюдию к величавому дому. — Ты вперед, — велел Боб. Темнота, запах чьего-то чужого дома, потом вспыхнувший свет разоблачил убожество крошечной прихожей Боба. — В месяц шесть никеров, — сообщил Боб, — не так уж и плохо с учетом всего. — Прошагали меж двумя рядами пустых бутылок из-под джина и виски, — почетный поблескивающий караульчик. Потом Боб отправил в мир света гостиную. Пивные бутылки и липкие матовые стаканы, разбитый викторианский диван с лежавшей на нем пылью, проигрыватель. Боб пнул выключатель электрического камина: поддельные угли и спрятанный вентилятор прикидывались живым пламенем. — Ну, — сказал Боб, по-прежнему держа под левой рукой коробку с едой, — даже не пробуй схватить этот ключ. — И помахал Эдвину ключом. — Ты останешься тут на какое-то время, вот что ты сделаешь; даже не пробуй смыться. Оглядишься, или сядь, или еще чего-нибудь, пока я соберу нам чего-то поесть. — И ушел, оставив ключ на ободранном и побитом столике, претерпевшем жестокое обращение предмете обстановки, вызвавшем в

Эдвине чувство искренней жалости. Эдвин прошел к дверям гостиной, увидел в затхлой кухоньке спину Боба. Боб готовился готовить еду. Он еще оставался в реглане, элегантно среди пустых банок из-под сардин, мутных молочные бутылок, сухих хлебных корок. Тихо пел маленький холодильник. Эдвин тихо прокрался с ключом к входной двери квартиры. Нет, впрочем, недостаточно тихо. Боб с ножом в руке оглянулся и помрачнел. — Слушай, — сказал он, демонстрируя нижние зубы, — не хочу я тебя лупцевать, потому что, догадываюсь, тебе это может понравиться. Не знаю — покуда не знаю, — что тебе нравится, что не нравится. Это мы и узнаем. Только ты отсюда не смоешься. — Он выхватил ключ у Эдвина и положил в карман своего пиджака. Потом, ведя Эдвина назад в гостиную, сменил топ и жалобно проскулил: — А в чем дело? Я тебе не нравлюсь?

— Дело не в том, — сказал Эдвин, — нравишься или не нравишься. Я не знаю, зачем ты сюда меня притащил, но если считаешь меня извращенцем, то полностью ошибаешься. Я вполне нормальный.

— Ты? Нормальный? Смехота. Чокнутый, точно так же, как я. По глазам твоим вижу. Все твое поведение на это указывает. Вот съедим копченого лосося и серьезно возьмемся за дело. Покажу тебе пару вещичек, поглядим, чего скажешь. Но сперва поедим. Пойдешь со мной на кухню, чтоб я тебя видел.

— Говорю тебе, это бессмысленно, — доказывал Эдвин. — Ничего общего между нами я даже придумать не в силах. Вполне можешь меня отпустить. Только время зря тратишь.

— Поглядим, — кивнул Боб, втолкнул Эдвина в кухоньку, вытащил из тумбочки под раковиной два грязных стакана для джина. — Шампанского дернем, — сказал он. — Смотри. — Эдвин посмотрел: «Вдова Клико» 1953 года. — Открывай, — сказал Боб, — выпьем, пока я режу лосося. Если пробкой в меня попадешь, не пожалуюсь.

Эдвин начал кое-что соображать. И сказал:

— Ты мазохист. Да?

— Чего? — подозрительно переспросил Боб.

— Мазохист. Физическую боль любишь. Может быть, флагеллант. Да?

Боб явно знал значение второго термина.

— Хлысты, — взволнованно вымолвил он. — Хлысты. Хлысты люблю. Пошли, посмотришь мои хлысты. Давай, давай. Потом можно поесть. — Возбужденно дрожа, дыша быстро и неглубоко, он потащил Эдвина через прихожую в другую комнату. Нащупал выключатель, втолкнул Эдвина. Комната была пуста, не считая буфета и фаланги пустых

бутылок. Полуослепший Боб трясся над буфетом, дергал дверцы, а потом сказал: — Смотри. Мои, все мои, чертова дюжина. Хлысты. — Вытащил из буфета хлысты, бросил на пол к ногам Эдвина, — пастушьи хлысты, девятихвостая плеть, хлыст наездника, длинный для каравана мулов, один с перламутровой рукояткой, детский хлыст для волчка, один устрашающего плетения кнут, ремень с шипами, — хлысты. — Бери, какой хочешь, — предложил он Эдвину, сгорая от возбуждения. — Выбирай, какой нравится. Давай. Давай, чтоб ты лопнул. Я хочу видеть тебя с ним в руках. — Эдвин колебался. — Давай. Давай. — Боб был в смертельной агонии, все так же в пальто-реглане.

— Нет, — сказал Эдвин.

— Возьмешь. Должен. Смотри. — Боб начал срывать с себя верхнюю одежду. — Покажу, — глухо проговорил он, задушенный рубашкой. — Вот, — сказал он, отшвыривая ее. — Смотри сюда. Пятьдесят швов на спине. *Пятьдесят.* — И продемонстрировал широкую спину, шишковатую, испещренную шрамами. — А мне плевать. Можешь хлестать с любой силой. Мне плевать. Давай. ДАВАЙ, — вопил он.

— Не буду, — сказал Эдвин. А потом добавил: — Если побью, выпустишь?

— Да, да, да, да, да.

— Но всего один раз. Только один. А потом ты отпустишь меня?

— Все, что скажешь, чего пожелаешь. Давай, щелкай.

Эдвин выбрал хлыст с короткой крепкой рукояткой и длинным ремнем, щелкнул им в воздухе, а потом по спине Боба. На морщинистой истерзанной спине возник сердитый снимок хлыста.

— Сильней. Сильней, — молил Боб. Эдвин почувствовал, как в низу живота у него поднимается садистская радость. Это уж совсем ни к чему. Обозлившись на себя, еще щелкнул хлыстом. И еще. Потом швырнул поганый предмет через всю комнату, хлыст звякнул о бутылки, упал мертвой змеей. Боб лежал лицом вниз на полу, задыхаясь, спокойный. Он свалился на груды собственной верхней одежды.

— Теперьпусти меня, — сказал Эдвин. — Дай ключ.

— Нет, — прозвучал голос с пола.

— Ты обещал. Пусти.

— Нет, нет. Останься.

Эдвин, кроткий доктор Прибой, злобно пнул Боба, стараясь сбросить его с пиджака, где покоился ключ.

— Да, — сказал Боб. — Сделай так еще раз.

— Я, — сказал Эдвин, — забью тебя до смерти, черт побери, если не

дашь ключ.

— Да, да, давай.

Ничего хорошего не выходило.

— Ты свинья, — заключил Эдвин. Боб расплакался. Презирая себя, Эдвин пошел в прихожую, толкнул входную дверь. Она безусловно была заперта. Вошел в спальню, увидел усеявшие ее бутылки, незастланную кровать с нуждавшимися в смене простынями, изодранные соблазнительные журналы кругом. Окно открывалось в шестиэтажную пустоту. Эдвин отошел от него, с изумлением обнаружил на стуле журнал, посвященный исключительно бичеванию. Зачарованно перелистал глянцевые страницы: страстные объявления раздел за разделом, изображение в действии свирепых хлыстов, ученая статья о вавилонских камерах пыток, многословная редакционная статья с упоминанием о кровном братстве читателей. Читая с разинутым ртом, услышал трижды стукнувший молоток, львиную голову. Боб со стонами пошел в пальто к двери, успокоенным взором взглянув по дороге на Эдвина.

— Ты, — сказал он, — останешься тут. Это по делу.

Эдвин нашел на туалетном столике пачку непристойных снимков, начал перебирать, поражаясь возможности извращенного варьирования темы, которая в его здоровые времена казалась столь простой. Услышал шотландский говор вошедшего, вероятно мужчины из Горбалса. Из гостиной доносилась беседа:

— Зекай навздрянъ, смотри, не фраернись.

— Заныкай хабар под вердник и ховай до самого крафтера.

— На осьь?

— В основном махалы по ходке барыги. Свистнут, когда колотушки закинут на хазу.

— Глянъ. Блянъ. Длянъ.

— Мокрушки на утренних летках. Борбота с колготой на вечер замахрючена.

— Хорошо.

Боб вернулся в спальню, где Эдвин под разнообразными углами исследовал самую сложную множественную позицию.

— Я ухожу, — объявил он. — Уезжаю в машине, а куда — тебя не касается. По делам. Вернусь завтра. Скажем, примерно к обеду. Ты тут останешься.

— Нет, будь я проклят.

— О да. Все с тобой будет в полном порядке. С голоду не умрешь. Два копченых лосося по никеру каждый. Ну, я пошел одеваться. — Боб

вернулся в камеру пыток, слышно было, как он пипками расшвыривает бутылки. Мужчина из Горбалса зашел взглянуть на Эдвина, кивнул, подмигнул оставшимся глазом, понимающе ухмыльнулся.

— Ти, — любопытствовал он, — докторер филозовии?

— Правильно, — подтвердил Эдвин.

— Ддейвид Юмммм, — провозгласил мужчина из Горбалса. — Бберрккли. Имманнуилл Кканнтт. — Собственно, было не слишком-то удивительно слышать подобный набор имен от такого субъекта. Эдвин знал: французские преступники, перерезая горло, цитируют Расина, Бодлера; итальянские мафиози обязательно знают, как минимум, Бенедетто Кроче. Одни англичане не в состоянии обзреть опыт человечества в целом. — Меттаффиззикка, — изрек мужчина из Горбалса и сказал бы еще что-нибудь, если бы не зашел Боб, завязывая галстук.

— Пошли, — сказал Боб, — если надо дело делать. Ты уверен, он будет?

— Канешшно.

— Веди себя хорошо, — наказал Боб Эдвину. — Сосни хорошенько. Посмотри телик в передней комнате. Поешь копченого лосося, только с пальцами осторожней, когда будешь резать.

— Это насчет часов, да? — любопытствовал Эдвин. — Ваше дело.

— Это наше дело, — отрезал Боб, — вот что это такое. Не твое. Завтра увидимся. — И они ушли, кивая. Хлопнула дверь, заскрежетал ключ. А потом Эдвин остался, в конце концов, наедине со своей первой на свободе ночью за долгое-долгое время.

Глава 19

С полным шампанского пивным стаканом, с куском копченого лосося на оторванном от краюхи ломте, Эдвин уселся смотреть телевизор. Кресло, одно-единственное, издавало подраненный звук сломанной пружины и извергало пыль, отчего он чихал. Включив ящик, почти сразу же погрузился в медицинскую лекцию, до того специальную, что вообразил, будто причудливой волей случая по ошибке попал в какую-то закрытую больничную сеть. Лектор в белом выглядел болезненно ожиревшим и, из-за заливавшего очки света, слепым.

— Минимально идентифицируемый запах, — вещал он, — или МИЗ, определяется посредством аппарата Элсберга. Методы обонятельного тестирования имеют очевидное, хотя и ограниченное, применение в клинической неврологии. Приблизительно у семидесяти пяти процентов пациентов с опухолями в лобных долях или близ этой области МИЗ неизменно оказывается несколько повышенным. — Он сияюще улыбнулся Эдвину. — Методы Элсберга, — продолжал он, — равно как и Цваардемакера, распространяются лишь до относительных порогов. Что касается абсолютных порогов... — Эдвин ткнул в белую кнопку на ящике, и мужчина в шляпе мигом застрелил мужчину без шляпы и сказал съездившейся женщине:

— Можете больше не беспокоиться. Больше он вам неприятностей не доставит. — Под самую что ни на есть благородную церковную музыку по экрану покатались имена исполнителей:

Джек Фэрфлай.....А. Э. Модлин

Бренда Пилл.....Мэри Кричлоу

Медведь.....Берт Лэдлоу-Сторм

Хромой вассал.....Герберт Ректор.

Потом радостно грянула реклама.

— Прибой, — объявила счастливая большеротая женщина, — все отстирает, но все отстирает за минимальное время и с максимальным эффектом.

— Нет, нет, нет, — возразил Эдвин. — Этого мне не надо, это нечестно.

Невидимое трио запело:

Прибой, Прибой, всегда с тобой.

Дешево и сердито,
Выброси свое корыто.
Ни у кого нет придирки
К белоснежной стирке.
Сейчас же бери, сейчас же беги за Прибоем.

Дешевый мотивчик вальса сопровождал вращение белой квадратной машины с фамилией Эдвина на ней.

— Нет, — повторил он, — нет, нет. — И выключил телевизор. В доме мафиози, толкача котлов, часов не было, поэтому время бродило по комнате в ночных шлепанцах. Эдвин, будучи гораздо проворнее времени, начал разглядывать всякие вещи. Имелась у Боба пара весьма глупых книжек с воплями, декольте и ляжками в чулках на обложках. Эдвин целенаправленно изорвал одну, рассеяв по полу клочки бумаги, с удовлетворением наблюдая, как пенный прибой изолированных неведомых слов снегом накатывает на потертый ковер. Хлысты Боба подхлестнули в нем кровь до жажды насилия. Легко было расправиться со старым диваном и креслом, разодрать и растрепать обивку. Он сжалился над столиком, и без того уже сильно побитым. Однако безжалостно расколотил экран телевизора, постарался, пускай без большого успеха, испортить холодильник. Распоров в спальне подушку, с изумлением, но с удовольствием обнаружил пачки пятифунтовых банкнотов, сунув несколько себе в карманы.

Открыл окно, выкинул все хлысты Боба, кроме одного. Последний собирался использовать не как инструмент наслаждения, а как внезапное оружие, сразу же по возвращении Боба. Лицо, думал он, глаза, рот. Потом замер, шокированный своей столь быстрой дегенерацией. Что на него нашло, скажите на милость?

Слова, понял Эдвин, слова, слова, слова. Слишком долго он жил словами, а не тем, что слова означают. Другим таким был Джеймс Джойс, который сознательно выбрал сладкую сердцу возлюбленную в кондитерской и не стал поправлять визитера, назвавшего картину фотографией, поскольку «фотография» — очень славное слово. Но Джеймс Джойс хотя бы не говорил гангстеру, будто был звонком на малине, просто из-за очаровательного звучания этих слов. Белый свет, полный слов. Свет слов, думал Эдвин, произнес это вслух, полюбовался звучанием. Суматошный свет слов. Но, кроме случайных звукосочетаний, этимологии, лексических определений, понимает ли он по-настоящему смысл хоть

единого слова? Любовь, например. Интересное сочетание звуков: чистый звонкий аллофон разделяет фонему, скользя к новейшей английской гласной, неизвестной, к примеру, Шекспиру, заканчивается мягким звучным лабиодентальным укусом. А происхождение? Эдвин видел, как это слово летит назад к англосаксам и дальше, а родственные тевтонские формы тоже несутся назад, так что все в конце концов растворяется в доисторической германской матери. Но было в этом слове нечто еще более восхитительное, для мужчины, если не для филолога: его истинное значение при употреблении в таком выражении, как «Эдвин любит Шейлу». И он понял, что не считает его восхитительным. Выпусти доктора Прибоя в реальный мир, где слова приклеены к вещам, и смотри, что он делает: лжет, крадет, вершит акты насилия над людьми и вещами. Его никогда существенно не интересовали слова, вот в чем беда.

А потом все это дело с протестом против обращения с ним как с неодушевленным предметом. Уж чья бы мычала, печем горшку перед котлом хвалиться, не так ли? Он относился к словам как к предметам, к предметам анализа и классификации, а не как к неотъемлемой части теплого потока жизни. Теперь безусловно славные слова — например «церебральный», «энцефалограмма», «неврология» — показали свою жестокую обратную сторону. А в плаксивом плоском флагелланте настоящие хлысты, не латинский *flagellum*, уменьшительное от *flagrum*; ^[73] смотрите, джентльмены, какое восхитительное чередование «l» и «g». И какая приятная аллитерация, думал он: плаксивый плоский флагеллант. И какая занятная двусмысленность.

— Ох, заткнись, — вслух сказал Эдвин. Чокнутый, точно чокнутый. «L» в испанском превращается в «g» в португальском: *blanco, branco* ^[74]. А *glamour* на самом деле, ха-ха-ха, *grammar* ^[75]. Замечательно. Ох, заткнись.

Он вдруг почувствовал огромную усталость. Может быть, наконец, те самые снотворные таблетки подействовали. Отрезал еще кусок копченого лосося, прикончил бутылку шампанского. Яростно икая (что за глупое, неправильное, звукоподражательное слово), лег одетый в разоренную грязную постель Боба. И в парике. Парик сидел замечательно.

Глава 20

Сразу перед полным пробуждением Эдвин знал, что непременно подумает, будто он снова в больнице, поэтому полностью пробудился с точным сознанием своего местонахождения и событий вчерашнего вечера. По освещению догадался, что время разумное, можно вставать, — время ощупывать после бритья щеки, слышать сухую дробь кукурузных хлопьев, сыплющихся в суповую тарелку. Рядом лежал журнал, открытый на порнографической картинке, — полностью одетая женщина щелкает хлыстом; общее убожество комнаты, усугубившееся в утреннем свете, сглаживала лишь полковая упорядоченность пустых бутылок на полу. Эдвин нежно поднял с постели свою головную боль, вкус шампанского во рту, нашел на кухоньке котел (если часы называют котлами, то как называют котлы?), поставил воду для чая. Потом пошел в крошечную темную ванную с обмылками, множеством ржавых лезвий, щетинистым осклизлым кольцом на раковине. Бритва Боба представляла собой жутко засоренный механизм, но Эдвин поднес ее к щеке и, не совсем от души, подвергся грубому бритью. Вернувшись в спальню, глядя вниз на улицу, увидел гадких мальчишек, хлеставших друг друга по дороге в школу. Бобу было бы приятно: как знать, не возникнут ли тут убежденные юные флагелланты?

При виде мальчишек у Эдвина возникла идея. Никаких канцелярских принадлежностей в квартире не было, но было полным-полно туалетной бумаги, а в ящике туалетного столика Боба — разнообразная губная помада. Он выбрал одну с отечканенным на металлическом футляре названием «Орхидея». Прелестное название, прелестное слово. Орхидные, однодольные. Крипторхид:^[76] цветок, растущий в церкви. На трех листах туалетной бумаги красно, жирно написал: ЗАКЛЮЧЕННЫЙ НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ. Завернул послание в пятифунтовую бумажку, пошел на кухню, завернул во все это кусок очень черствого хлеба. Веревочки нигде не нашлось, но Эдвин использовал для надежной перевязи галстук Боба, потом выбросил кусок в окно. Двое мальчишек перестали хлестать друг друга и бросились за ним на середину дороги. Туалетную бумагу проигнорировали, взволнованно отшвырнули, занявшись пятифунтовой бумажкой. Глянули вверх на окно, помахали Эдвину и заплясали прочь. Ну и утро: хлысты и деньги. Эдвин видел, как послание полетело через дорогу, на миг прилипло к фонарю, потом ветер

суматошно его закружил, понес по суматошному свету. Сумятица сумасшедших слов, милорд.

Потом вниз по улице рано утром на работу затрусил Хиппо, неаппетитная мясная начинка сэндвича. Видно, агентство, где он работал, перевело его из религиозного в мирской департамент, ибо передний щит, как видел, прищурившись, Эдвин, гласил: «ПРИБОЙ — ЗНАЧИТ ЧИСТО». А на заднем было написано: «ПРИБОЙ ВСЕ ОТЧИСТИТ». Что это за чертовщина: Прибой? Чистящее средство — да, но машина или порошок, так и не разъясняется. Сгодились бы для доктора Рейлтона. Присылайте предлагаемые вопросы для викторины на почтовой открытке. Что ты такое, Прибой, машина или порошок? Эдвин закричал во всю мочь, в полную силу утренних лондонских легких:

— Иппо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о!

Хиппо огляделся на манер «на-этом-острове-столько-всякого-шуму». Решил, что ему просто чудится: голоса предков в лондонском воздухе, густо насыщенном привидениями. И поплелся дальше. Эдвин, откашлявшись, снова позвал:

— Иппо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о!

На этот раз Хиппо остановился, поглядел по основным координатам компаса, потом, сменив измерение, в небеса с крыши дома до зенита до крыши дома. Наконец увидел махавшего Эдвина и радостно помахал в ответ. Он жил в мире главным образом фатических жестов. И, удовлетворенный, снова потопал прочь.

Эдвин, вздохнув, направился посмотреть на котел, перегнавший почти всю воду в пар. Приготовил чай, накромсал копченого лосося, угрюмо позавтракал. Для того его приберегали, чтоб стать мальчиком для битья при мафиози, толкаче котлов? Никогда его родители — любезный покойный пастор, знаток греческого, мать-садовница, тайная теософка, — даже не воображали такого для единственного своего сына. После завтрака, закулив сигарету Боба, Эдвин пошел к окну гостиной, широко распахнул его. И с неопишуемой радостью увидал Чарли, мойщика окон, за работой, тремя этажами ниже и на два окна левее его.

— Доброе утро, — без иронии сказал окликнутый Чарли. — Немножечко прибарахлился, а? Цвет волос тоже сменил. Хотя дело твое, не мое. — И стал дальше тереть поскрипывавшей губкой, нахмурившись.

— Слушай, — молвил Эдвин. — Внимательно слушай. Знаю, звучит романтически, байронически, ерундово, только я здесь в плену. Мой тюремщик ушел, запер дверь, и я просто не в состоянии выбраться. Он нынче утром вернется, возможно, попытается меня убить. Помогите мне,

пожалуйста, а?

Чарли немного подумал, насупившись, как бы высчитывая.

— Эта квартира, — сказал он со временем, — Боба Кариджа. Чокнутый малый. Это он тебя запер. Вот так. — Еще подумав, заключил: — Ничего хорошего. Моя лестница до тебя не достанет. Мы обычно влезает туда, с подоконников моем. В этом доме не все жильцы окна моют. Куча жлобов грязнуль, вот что я скажу. — И опять заскрипел.

— Ну, — сказал Эдвин, — а не можешь ли ты кому-нибудь сообщить? Должен быть какой-то способ вызволить меня отсюда. Кто-нибудь может замок сломать, например.

Чарли подумал.

— Тут слесарь нужен, — заключил он. — Вряд ли я знаю свободного в данный момент. Конечно, замок надо выломать. Наверно, самый лучший способ.

— Да, хорошо, только кто это сделает?

— Да кто хочешь, — неопределенно сказал Чарли. — У меня у самого времени нету, — объявил он. — Кое-кому приходится работать, — с негодованием пояснил он. — Мы себе вообще такой роскоши не позволяем — запереться и ждать возвращения чокнутого облома с грузом котлов. Я его хорошо знаю, Боба Кариджа. — И раздраженно возобновил чистку.

— Деньги, — сказал Эдвин. — У меня деньги есть. Пожалуйста. Может быть, вопрос жизни и смерти. — И помахал Чарли кучей пятерок.

— Не надо мне твоих чертовых денег, — отозвался Чарли. — Знаешь, что можешь сделать со своими деньгами. Когда я что-то делаю, то я это делаю потому, что я это делаю для того парня, который *мой друг*. Не знаю, друг ты мой или нет. Ты этого ни так, ни иначе не доказал, правда? Вот твоя миссис — дело другое, если понимаешь, что я имею в виду. Она выпивала со мной, в дартс играла, угощала в свой черед за свои деньги. Знаю, расстроится до кошмариков, если узнает, что ты путаешься с такими обломами чокнутыми. Поэтому я пойду найду Гарри Стоуна, Лео Стоуна, расскажу, что стряслось, уж они меж собой разберутся. Обожди только, покончу вот с этим окошком, потом поглядим, чего тут можно сделать. — Он сверкнул Эдвину какой-то театральной улыбкой, а потом принялся тщательно завершать пассаж, которым занимался. Эдвин теперь убедился в безумии всех, кроме себя самого, но это мало утешало. Стучавшее сердце предчувствовало возвращение Боба, нагруженного котлами, не особо довольного бичеванием своей квартиры. Однако через пятнадцать минут Чарли сказал: — Выглядит по-настоящему славно, вот так, симпатично, блестит, да разве эти жлобы оценят? Нет, зуб даю. Рады любой старой

грязи, дерьму, брызгам и прочему, да ведь я занимаюсь искусством ради искусства. Перфекционист, вот кто я такой. Головной боли у таких типов больше, чем у вас у всех, да уж вот так вот. Ну, теперь пошел на берег. — Он посвистывал себе, спускаясь по лестнице, остановился на полпути, крикнул Эдвину: — Присматривай тут за хозяйством, пока меня нету, да не разрешай никому с ним возиться. Я быстро. — На уровне земли, не спускаясь, Чарли потянулся, словно только что встал, а потом спортивно побежал за угол.

Ветер гнал по улице бумагу и листья, и в один момент Эдвин подумал, будто видит краткое возвращение своего послания на туалетной бумаге. За кварталом многоквартирных домов остановилась машина, и он ощутил страшную тошноту, вообразив ее знакомый вид. Но вышедший мужчина был хром и на вид безобиден, как сборщик квартирной платы. Эдвин пошел в другой конец квартиры, выглянул из окна спальни. Улица угнездилась в спокойствии буднего дня жилого района, почти не изуродованная ни людьми, ни велосипедами. Взяв единственный оставшийся хлыст, Эдвин стал им пощелкивать и посвистывать, беспокойно расхаживая по квартире.

По окончании неизмеримого пласта времени показалось, будто он слышит другую машину, подъехавшую к кварталу. Снова пошел к окну спальни и с неизмеримым облегчением увидел такси, извергающее из себя Чарли, черного пса неизвестной породы и двух идентичных мужчин, хотя один из них нес мешок. Эдвин бешено замахал и продолжал махать, пока компания поднималась по железной лестнице, а такси уезжало. Как только он стал хорошо виден своим, как надеялся Эдвин, спасителям, Гарри Стоун как следует присмотрелся и неискренне проговорил:

— Всемогущий Иисусе Христе. У него таки снова волосы отрасли, — добавил он. — Сто за фокус, сплосная голова кудрей. — Лео Стоун успокоил своего близнеца, весьма разумно объяснив, каким образом может произойти подобная вещь за такое короткое время, а Эдвин подтвердил, на секунду приподняв парик. Гарри Стоун, похоже, не до конца успокоился. — Какой-то пусок растет, — заявил он. — Надо будет пройтись хоросенько к завтрасне-мувесеру. — Когда отряд добрался до двери, Эдвин вышел в прихожую и стал ждать на манер человека, который накрывает на стол, присматривая за опущенной в кастрюлю курицей. Ибо дело было долгое. Пес Ниггер приняховивался под дверью, Лео Стоун произнес слово «слесарь», а Чарли сказал:

— И я говорю то же самое, слесарь. — Звякали и испробовались инструменты, замок все время обещал легко поддаться и все время

отказывался от обещания в последний момент.

— Настоясся сволось, — заключил Гарри Стоун. — Мертво крепкий.

— Может, с петель снять? — предложил Чарли. Сквозь скважину слышалось тяжелое дыхание согбенных близнецов Стоун.

— По-моему, идет, — сказал Лео Стоун. — Пальцы скрестите. Ах, раздолбай тебя, — продолжал он, когда запор кокетливо устоял.

— Шпилькой, — посоветовал Чарли.

— Если не поможет, то все, — объявил Лео Стоун. Последовал натужный железный шум насилия над замком.

— Ну, давай, — понукал Гарри Стоун. Оператор издавал скуповатые стоны, потом дверь с астматическим крещендо внезапно подалась внутрь, раздалось облегченное а-а-а-х-х-х, собачья голова, львиная голова, три человеческих головы смотрели на Эдвина.

— Вы, — сказал Гарри Стоун, — свободны, будь я проклят.

— Открыто теперь, — сказал Чарли. — Вполне можно заодно окна помыть. Ну и бардак, — добавил он, войдя. На близнецов Стоун учиненный Эдвином разгром в гостиной не произвел впечатления.

— Прямо как пес, — сказал Гарри Стоун. — Такое однажды нас Ниггер устроил, кода мы его оставили одного.

— Он вас за это достанет, — предупредил Лео Стоун. — Надо спрятаться до завтрашнего вечера.

— Моя жена, — сказал Эдвин. — Вы не видели мою жену? — Кареглазые головы опечаленно закачались.

— Скажу, что можно. сделать, — вызвался Лео Стоун. — Вдобавок в каком-то смысле на пользу ему пойдет. Знаешь, кто там таким рэккетом занимается, крышу обеспечивает, Мантовани, Скьяпарелли, или как его там?

— Перрони?

— Сойдет, — кивнул Лео Стоун, бурля творческим возбуждением. — Оставим записочку от Перрони. Пускай этот Боб партией дизелей разродится. Где чего-нибудь, чем писать?

Пока Чарли судорожно протирал окна, Лео Стоун крупно написал губной помадой на кремовой стене гостиной: «ТУТ БЫЛА ШАЙКА ПЕРРОНИ, БЕРЕГИСЬ, ПОГАНАЯ ХАРЯ». Ушло полных три тюбика, «Розовый коралл», «Утренняя роза», «Лесной костер».

— Но, — сказал Эдвин, — не возникнут ли неприятности? Я имею в виду, не решит ли котельная мафия перебить шайку Перрони?

— Неприятности? — провизжал Гарри Стоун. — Перебить? — И толкнул Эдвина правым плечом. — Кому с *ними* нужны неприятности?

Парни Перрони гораздо выше котельной мафии, гораздо выше, вообще никакого сравнения, будь я проклят. Неприятности? Просто смех, вот и все.

— Теперь окна намертво чистые, — объявил Чарли. — Может со мной расплатиться при встрече. Погано живет.

— В любом случае, — сказал Эдвину Лео Стоун, — лучше сегодня вам взаперти посидеть. У нас нельзя спрятаться, потому что всего две кровати, на них днем две дочки Ренаты, поэтому, думаю, лучше остановиться у Леса. По-моему, с вами там все будет в полном порядке. Свежие овощи просто мешками, есть чего пожевать.

Чарли вернулся к своей лестнице, а Эдвин и близнецы Стоун нашли за углом такси. Пес по собачьему обыкновению влез первым, занял середину сиденья, облизываясь после рыбного обеда стоимостью, как минимум, никер. Доехали до грязной улицы не очень далеко от «Якоря», вылезли перед ветхим домом с плоской крышей: на стенах меловые каракули, занавески дырявые, точно сыр, друг на друга орали сопливые праздные ребятишки, играли обломками кирпичей.

— Лес ессе не вернулся, — сказал Гарри Стоун. — А она, по-моему, там. Он соснуть возвращается в регулярное время открытия, сидит до самой зари на сотландском виски да на молоке. — Эдвин попробовал расплатиться с таксистом пятифунтовой бумажкой.

— Сдачи не надо, — бросил он.

Шофер, добродушный мужчина, выходящий из среднего возраста, повидавший мир, фыркнул и заявил:

— Даже не пробуй мне втюхивать, землячок, потому как я подозрительный, понял? Может быть, в магазине всучишь, хоть того не заслуживаешь. Поглядите-ка на бумажку, — сердечно предложил он, подобно мистеру Бегби, демонстрирующему опухоль мозга. — Даже подделана не как следует, — упрекнул шофер. — Только гляньте в глаза шлюхи в шлеме, которая будто бы «Правь, Британия», или как ее там. Глянь, косые. А это чего у льва в носу, вроде кольца? Совсем ему тут делать нечего, правда? Я в свое время видал неплохую работу, достойную каждого. А тут только гляньте. То-то и оно-то, — сказал он. — Нынче, похоже, никто ничего не умеет как следует делать. Все война виновата, — сказал он, — как и во многом другом. Жуткое наказание для человечества, вот что.

Глава 21

Кармен с радостью предложила Эдвину убежище.

— Ох, блин, — сказала она, — да, он говорит, как порабочный. Как caballero^[77] он говорит. Спыт в сэрэдыпе койки. — С момента их последней встречи ее зубной кариес как бы дальше продвинулся (кариес галопирует?), но она одарила его широкой улыбкой вроде иллюстрации из учебника одонтологии. На ней по-прежнему был синий джемпер, плетенье ниток на груди разошлось до фактических дыр, но юбку с названиями экзотических блюд сменил более здравый монтаж — знаменитые храмы Европы. По какой-то причине Эдвину на память пришла испанская народная песня, слышанная однажды по третьей программе, — «пусти к себе в часовенку моего монашка», — и он сдуру произнес эти слова вслух. — Сучок, — радостно объявила Кармен и мгновенно крутнулась тяжелым телом, отчего храмы непристойно заколыхались.

— Тогда мы его у тебя оставляем, — скорбно сказал Гарри Стоун. — Не выпускай, сто бы ни было. Это для него опасно, понятно? Пускай сидит в норе до завтраснего весера, особенно с такой головой.

— А что за дела завтра вечером? — полюбопытствовал Эдвин. — Вы так и не объяснили.

— Говорил, — окрысился Гарри Стоун. — Конкурс на лысую голову, какая красивее. Снасяла сто-то наподобие иссем таланты с усястием Лео, в консе лысые головы, организовано в сесть какого-то нового фильма с каким-то главным лысым молокососом. И по телику будут передавать.

— А какой первый приз? — спросил Эдвин.

— Да навалом всего, — провизжал Гарри Стоун. — Сотня никеров и кинопроба. Токо подумайте, сто оно таки для вас ознасят, для проклятого бедняги перфессера. Звезд видали?купаются в деньгах, разъезжают везде в «кадиллаках», в больсих лимузинах, телки во всяком возрасте с визгом на них кидаются. Вы тозе будете в таком зе положении, — втолковывал он, по-еврейски резко толкая Эдвина. — Будете, если, — добавил он, — с нынесиего момента до завтраснего весера не присините своей голове никакого вреда.

— Значит, я вообще никаких денег не получу? — допытывался Эдвин. — Одну кинопробу, да?

Близнецы подняли восточный гвалт, говорили одновременно, махали руками, готовыми, если б нашлись безделушки, смахнуть безделушки на

пол. Что деньги по сравнению с шансом стать всемирно известной великой легендой экрана, вопрошали они. Тыща никеров — ноль; они просто уверены, мужчина интеллектуального калибра Эдвина презрительно отвергнет ничтожную тривиальную кучу сальных бумажек; другое дело — бедные жида без единого таланта; в любом случае, чья идея? Они шлепали и пихали Эдвина, уверяя, что на самом деле оказывают ему огромную услугу, тратят время, труды, заботятся о нем, а от него мало помощи, правда? Оказался в руках мафиози, толкачей котлов, полиция его преследует по всему Лондону. Никакого чувства ответственности, вот в чем его беда.

— Но, — сказал Эдвин, — если приз столь желанен, не вижу, какой у меня может быть шанс. Наверняка миллион человек готовы побриться наголо ради сотни никеров и кинопробы. Мне даже сунуться не дадут.

Просто смех, вот и все. Неужто он действительно, в трезвом рассудке, по-честному думает, будто подобные вещи нельзя устроить? Неужто наивно воображает, будто конкурсы такого типа обходятся без мухлеза? Ну, так пусть теперь знает: устроителю конкурса по полной справедливости светит срок, тогда как им, близнецам Стоун, это известно; существуют определенные вещи, связанные с определенным нелегальным импортом в прошлом, — нет, не котлов, ничего даже похожего на котлы, не будьте идиотом, — которые можно предать публичной огласке, причинив неизмеримый вред тем, кто пусть пока остается неназванным. А судьи? Снова есть над чем посмеяться. По контракту с определенным каналом судить будут определенные телки с определенными родовыми характеристиками, по с малым талантом. Поэтому не смешите нас. Эдвин, однако, по-настоящему не убедился.

Когда близнецы все со столь же громкими речами ушли, пес их тоже, фокусничая с капустной кочерыжкой, Эдвин получил возможность обследовать маленькую квартирку, ставшую теперь его убежищем. Меблирована она была главным образом рыночными овощами. В кресле в гостиной покоились два-три крупных стручка мозгового горошка, в топке камина — картошка, на немногочисленных ровных поверхностях аккуратно лежали брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, кочанная капуста; в спальне сильно пахло фруктами-паданцами. Кармен бросала в большой дымившийся паром чан сельдерей корешок за корешком, готовя, по ее объяснениям, сильнодействующее средство от ревматизма. Эдвин с интересом, с надеждой заметил, что его чокнутый обонятельный аппарат, похоже, приходит в порядок, поскольку запах рома привел его к жестяному тазу с гниющими бананами.

А от пришедшего Леса пахло молоком и скотчем. Кармен сказала:

— Я зюда его не звала. Я не драхалась. Ох, блин, его те двое зюда привели.

— Я все знаю, девчушечка, — сказал Лес. — За него в этом смысле не беспокоюсь, наслушавшись его жены. — Он холодно взглянул на Эдвина. — Хорошую ты кашу вчера вечером заварил, а? В хороший кисель вляпался, а? Будет тебе урок, а? — Эдвин повесил голову. — Ладно, — чуть мягче сказал Лес. — Мир совсем испоганился. — Он принес с собой дерюжную сумку, которую опустошил на пол, — еще фрукты и овощи. Картошка катилась под стол, шуршали зеленые листья, хрустела капуста, скрипели побеги. Но когда уселись втроем за ранний полдник, блюда оказались чисто плотоядными: зараженное червями мясо, принесенное Кармен из гамбургер-бара.

— Так вы мало овощей едите? — полюбопытствовал Эдвин.

— Фактически, немного, — подтвердил Лес. — Фактически, слишком часто их видим. Почти все время среди них живем.

Лес после еды удалился поспать, Кармен готовилась отправляться на работу, надела на дроздово-черные волосы ток не к лицу, взяла хозяйственную сумку, — не для покупок, для фарша из гамбургерной.

Эдвин осторожно сказал:

— Я вот думаю вместе с вами пойти. Погулять. Знаете, на свежий воздух.

— Ох, блин, — в отчаянии вскричала Кармен. — Слыжижь? Лез, слыжижь? Пойди, он говорит. — Лес в носках ворвался в гостиную. Мрачно глянул на Эдвина и сказал:

— Ну, мне не надо тебе ничего объяснять, ты ведь, по-твоему, умней меня. Только не думаешь ли, что с нас хватит проблем в любом случае? Не кажется ли тебе умней сидеть тут, не кусать руку, которая тебя кормит, держаться подальше от неприятностей? Я не собираюсь тебя запирать, так как на самом деле терпеть не могу держать кого-то взаперти, но прошу тебя ради всех сидеть тут. Тут полно всякого, чтобы время убить. Можешь читать, можешь чистить картошку, можешь подкидывать вон в тот котел сельдерей от ревматизма.

Тут не соскучишься. Только не рискуй своей собственной жизнью, а также не вляпывай нас, твоих друзей, в жуткую кашу.

Речь была убедительной, Эдвин на какое-то время почувствовал себя пристыженным. Кармен ушла, Лес храпел, Эдвин начистил полный железный котел картошки. В сумерках Лес проснулся, сухо чмокнул губами, вышел на кухню, нашел Эдвина за работой.

— Хорошо, — сказал Лес. — Хорошо. «Кинг Эдвард», лучший сорт, не найти в мире лучше картошки. Не то чтоб я сам ее много ел. Полнит. — Зевая, почесывая голову, стал обуваться с такими речами: — Вареву, Вавилон, авиатор. Ява, — добавил он. — Прошу прощения, — извинился. — Просто думаю, чем бы лучше всего заняться нынче вечером. Тебе, я имею в виду. Сегодня у нас снова идет та же опера, да не похоже, чтоб тебе там было безопаснее, чем в любом другом месте. С другой стороны, не станешь же ты весь вечер тут чистить картошку. По-моему, кто хочешь свихнется.

— Я вполне могу, — подхватил Эдвин, — просто здесь оставаться. — У него было тайное намерение пойти поискать Шейлу. Ему казалось, фальшивые дензнаки, возможно, сойдут в темноте, предоставив возможность ездить в транспорте с места на место без большого труда, а также по пути подкрепляться. В самом деле, дела непомерно улучшились. Он прилично одет, с волосами, с деньгами. Фальшивые волосы и аналогичные деньги. Ему гораздо лучше, чем при возвращении от нехорошего жадного Часпера. Часпер больше его не заботил. В конце концов он отыскал свой уровень.

— Ну, — сказал Лес, — тогда хорошо. Слушай, тут полным-полно всякого чтения. — Кивнул на беспорядочную грязную кучу «Пэнов» и «Пенгвинов»^[78]. — Пара классиков тоже найдется, только я их в шкафу держу. Типа Дж. Б. Пристли, Невила Шата, «Больше нет орхидей». В конце концов, не годится, чтоб каждый их лапал. Да ведь ты — читатель, вроде меня и старика Чарли. — Лес радостно одевался, распевая хабанеру из «Кармен»:

Я ублюдок, сама ты шлюха,
Будь ты моею, дал бы в ухо.

И с песней ушел, а Эдвин остался с овощами и с классиками. Еще было рано, поэтому сварил себе картошку, не забыл посолить, поел, сопровождал еду банановой ромовой кашей, которую ел ложкой, зная о ее питательной ценности. Причесывая парик, услышал стук в дверь. Неужели Боб? Прихватил хлебный нож, дождался более настойчивого повторения стука, потом подумал: «Это должна быть Шейла». Понес с собой к дверям хлебный нож, открыл, замахнулся — и обнаружил на пороге Ренату.

— На, — сказала она, качнув головой. — Мной за хвоста нет. Утверждать могу так. — И покачнулась, полная доппель джинов.

— Ну? Что? В чем дело?

— Ungeduld, — объявила Рената. — Нетерпение. Вам теперь скажу я. Миссис с бородой художником молодым вашу видели. Давайте мне вы деньги. Скажу, где я вам. — И уверенно протянула руку.

— Откуда мне знать? — сказал Эдвин. — Откуда мне знать, что *вы* знаете?

— Знаю я, — подтвердила Рената. — Я, дорогой, знаю, мой. Вечером вчерашним, дня предыдущего вечером видели в месте их том.

— Вот, — сказал Эдвин, вручив ей пять фунтов. — Где?

Рената поцеловала бумажку, свернула ин кварто, ин октаво. Джинисто качнулась вперед и шепнула:

— Сохо, Сохо. Под глупым в месте названием очень.

— Но где в Сохо? — спросил Эдвин. — Черт возьми, Сохо большой район.

— Название забыла, — призналась Рената. — Да, ох. Художников для оно. Клуб. — Воздела висевшие по бокам руки, превратившись в распятие. — Большие стенах на картины. Однако не очень хорошие. Nicht so schlecht, — мягко брызнула она слюной. — Nicht so gut^[79].

— Грик-стрит? Фрит-стрит? Где?

— Сохо, — твердила Рената, с кивками тащась купить еще джина. — Туда идите, дорогой, дитя вы бедное, мой. — Эдвин захлопнул дверь, поспешил закончить туалет. В любом случае, это начало, какое-то начало. Полюбовался собой в зеркало, прототипом поэта, поразмыслил, не лучше ли было бы с бородой. Человек будущего, бесконечно пластичный. А также, возможно, гарантированно не узнаваемый Бобом. Но ведь дело в глазах, правда? Обшарив гостиную, он нашел в ящике — среди автобусных билетов, шпилек, пуговиц, сломанных зубьев расчесок, бутылочных открывалок, изолированных проводов, пары гнилых помидоров, подарочных купонов из пачек кукурузных хлопьев, клочьев волос, туго скрученных в комья, грязных открыток, армейской платежной книжки, старой вставной челюсти, пастилок для освежения дыхания, благочестивого ароматизированного служебника, нескольких неразвернутых пачек «Минтос», трезубцев-вилочек для коктейля, четырех-пяти игральных карт, костяшек домино, игровых костей и стаканчика — дешевые пыльные солнечные очки. Они были узкими, должно быть, принадлежали Кармен или ее предшественнице. Однако вполне удобно уселись на его собственном носу и ушах. Таким образом вооружившись и скрыв свою чокнутость, Эдвин приготовился к любым приключениям.

После долгих поисков, шатания по закоулкам, мимо порочных лавок,

торгующих рыбой с чипсами, он очутился на прекрасной широкой лондонской магистрали, той самой, где рыскал вчера на рассвете. Заглядывая в многочисленные табачные магазины, наконец увидел искомое: жующую костлявую девушку, нерадивую, уделявшую больше времени поджидавшей подружке, — тоже жевавшей пудингово-пухлой сучке в пластиковом дождевике, — чем покупателям.

— Будьте добры, двадцать «Сениор», — попросил Эдвин, протягивая банкнот.

— Мельче нету? — покосилась жующая девушка.

Эдвин снял солнечные очки, демонстрируя честные, хоть и чокнутые глаза, сказал:

— Извините. — И пострадал от обиженно отсчитавшей сдачу девушки.

— Почти все получите серебром, — объявила она. Такое он получил наказание. Эдвин рассыпался в благодарностях. На улице, наслаждаясь бесплатным дымом, кликнул такси. (Исландское heill:^[80] английское health — здоровье; отсюда приветствие «здравствуйте», оклик.) Не даровая поездка, а за настоящие, деньги. Но ведь на самом деле бесплатная, правда? Как знать, с чего начинается, что в действительности tuum и meum?^[81]

— Сохо-сквер, в конец Грик-стрит, — сказал он водителю. Вроде разумная отправная точка. Эдвин, сам насквозь поддельный, ощущал определенное родство с поддельными удовольствиями Тоттенхэм-Кортроуд и Оксфорд-стрит на страдальческом пути к Сохо. Когда слева засверкали Кросс и Блэквелл, шофер уточнил:

— Тут что ли, шеф? — На площади стояла, ползла мешанина машин. Эдвин расплатился, но не расщедрился на чаевые, и пошел на Грик-стрит. Клуб с картинами на стенах. Как попасть в клуб, не будучи членом? Наверно, обождать рядом какого-то члена и попросить провести. Почти как в те времена, когда он дожидался у кинотеатра, просил любого входившего взрослого стать сопровождающим, без которого дети младше шестнадцати не допускались на фильмы определенного сорта. «Опасное неведение». «Чудо рождения». «Человек с отвалившимся носом».

Эдвин прошел долгий путь, не находя клуб художников. Рестораны предлагали все на свете, кроме ростбифа и йоркшира^[82]. Кофейные бары с хитроумными приспособлениями: выше «Рай», ниже «Ад», ватерклозет под названием «Чистилище»; «Гнездо Некрофилов»; «Вампир» с кровавым светом, кровавающим кофе. Полным-полно пабов. Наконец, с усилением жажды, он зашел в один, решил, что хозяин ему не понравился, и

предложил пять фунтов за двойной скотч.

— Что такое, что такое? — сказал хозяин, разглядывая бумажку на свет. — Вас надули, вот так вот, вас надули, настоящая фальшивка.

— Ну и свиньи, — сказал Эдвин, протягивая честное серебро. — Просто нельзя никому доверять, правда? — Хозяин направился к телефону, поэтому Эдвин выхлебнул виски и вышел.

Наконец вроде бы он нашел, что искал. «КИТАЙСКИЕ БЕЛИЛА». Туда как раз входил негр с бородкой, поэтому Эдвин вежливо проговорил:

— Простите, сэр. Я ищу кое-кого. Может быть, встанет вопрос о покупке картины. Не будете ли добры...

— Если картину хотите купить, — сказал негр, — у меня есть картины. Состоятельный покровитель искусств? — Одновременно ухмыльнулся и улыбнулся: проявление извечной дихотомии художника. — Заходите, — пригласил он. — Внутри мои картины висят. — Открыл дверь, выставив напоказ корпус мужчины в рубашке с короткими рукавами, восседавшего за книгой для посетителей. Эдвин написал свое имя и расписался. Негр, которого, видно, звали Ф. Уиллоуби, откинул гардину. Эдвин снял темные очки, увидел ожидаемое: обносившихся косматых мужчин и девушек в цветных чулках. Помещение было длинное, узкое, шумное, дымное. В конце находился бар, стены были увешаны полотнами. Никаких признаков Найджела и Шейлы. Может, позже придут. Времени, в конце концов, навалом.

— Наверное, мне не позволено заказывать напитки, не будучи членом, — сказал Эдвин. — Поэтому, может быть, я дам вам денег, чтоб вы это сделали вместо меня. — И попытался сунуть в широкую художническую лапу Ф. Уиллоуби свернутую пятифунтовую бумажку. Но Ф. Уиллоуби заявил:

— Любой, кто пришел, может платить за выпивку. Мне большой перно.

— И вы его получите, — посулил Эдвин, с радостью видя, что бармен занят и что он с виду в любом случае ему не нравится. Бармен немножко косил, точь-в-точь как псевдо-Британия, которую ему предстоит получить. Но только Эдвин приготовился привлечь его взор, раздалось общее шиканье, торговля временно прекратилась. Оглянувшись от стойки бара, Эдвин увидел высокого худощавого юношу в очках, в свитере с высоким воротом, с геометрически прямыми волосами, сидевшего на стуле посреди зала, неумело наигрывая на испанской гитаре. Издав два-три кислых простых аккорда, юноша стал декламировать, подчеркивая свои каденции аккордами, якобы на манер псалмопевца:

Тем, кто выход искал и нашел:

Это.

А из дыр вырастают искомые двери,

Для тех, кто выходит, высоко вскинув голову,

точно звери:

Это.

Где дыры?

У мужчины, у женщины, в бутылке, в банке,

в потрепанной книжке, подобранной в грязи

под дождем на железнодорожном полустанке.

А святая святых, а дырая дырых, где

Это?

И еще много всякого, столь старомодного, что уже современного; Эдвин страдал от жажды, но слушал в основном с уважением.

— Это, — объяснил шепотом Ф. Уиллоуби, — «Это». Поэма, — добавил он. — А мои вон, вон там, — ткнул он пальцем; кто-то, видя указующий перст, шикнул. Эдвин увидел ряд небольших холстов, и на каждом был круг. Одни круги больше других; на глухо закрашенных фонах варьировались яростные плакатные тона, но все произведения Ф. Уиллоуби были портретами круга.

— Это просто круги, — шепнул Эдвин. — Круги, вот и все.

— Ш-ш-ш-ш.

— Просто? — переспросил Ф. Уиллоуби. — Просто, вы говорите? Пробовали когда-нибудь нарисовать круг голыми руками?

— Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш.

В последнюю дыру мы выходим на

Это.

Мышь становится львом, когда дыра не дверь,

а пробоина,

Выход в

Это:

В клеть. В клеть. (И прозвучал гитарный

аккорд: «КЛЕТЬ».)

— Но ведь, — шепнул Эдвин, — всякое произведение живописи пишется голыми руками, правда?

— Слушайте, — сказал псалмопевец. — Я почти закончил. Не возражаете?

— Наилучшая строчка, — заметил Эдвин.

— Ш-ш-ш-ш. — Девушки казались симпатичней, надув губки в шиканье: ш-ш-ш.

Псалмопевец закончил постлюдией:

Наружная дыра, обнаруженная сквозь дыру,
Не нарушенная наружность, а всего лишь
окружность,
Дырительница, которая нам дырует
Это.

Правая, издававшая аккорды рука оторвалась от струн и демонстративным жестом дернулась в воздухе. Эдвин хлопал громче всех, заказал два больших перно и всего прочего по желанию бармена, получил кучу сдачи настоящими деньгами.

— Насчет круга, — сказал он.

— Был в прошлом один великий художник, — признал негр, — итальянец, он мог это сделать. С тех пор никто больше не может. Только я, — сказал он и хлебнул.

— Но разве от этого повышается эстетическая ценность? — спросил Эдвин. — Зрителю ведь неизвестно, как вы это сделали, рукой или циркулем, правда?

— Рассматривайте изо всех сил, — предложил Ф. Уиллоуби, — никакого укола от циркуля посередине не обнаружите.

— Но допустим, я нанесу там укол, как будто это сделано циркулем, — продолжал Эдвин. — Будет ли хоть какая-то эстетическая разница?

— Слушай, браток, — сказал Ф. Уиллоуби с парижским акцентом, — я их просто пишу. Я не спорю насчет эстетики, ясно? Десять гиней за все.

— Лады, — согласился Эдвин, отсчитывая пятнадцать фунтов. — Мне четыре десятки сдачи.

— За четыре десятки, — сказал Ф. Уиллоуби, — можешь и вон те полотна забрать. — Рисунок довольно приятный: красновато-коричневые, лимонные, желтовато-зеленые завитки.

— Извини, — сказал Эдвин. — В любом случае, твоя очередь платить

за выпивку. — Ф. Уиллоуби протолкался купить два простых легких эля, заодно принес Эдвину сдачу. Эдвин почуял быструю пульсацию интереса к нему, задумчивые яркие глаза, устремленные на необычайно щедрого патрона, который за десять гиней купил комплект кругов и обязательно купит еще что-нибудь.

— Пожалуй, мне нравятся работы Найджела, — объявил Эдвин. — Их поблизости нету?

— Найджела? — переспросил Ф. Уиллоуби. — Какого Найджела? Найджела Крампа? Найджела Мелдрама? Найджела Макмура? Найджелов много.

— Найджела с бородой.

— Благослови тебя Бог, — по-диккенсовски молвил Ф. Уиллоуби, — все практически с бородами. А тут никаких их вещей нету. — Он как-то угрюмо взглянул на плачевные главным образом картины на стенах: старомодная стилизация под Кирико^[83] с разбитыми колоннами, с лошадьми, больными артритом; пара портретов общеизвестных подруг художников; мертвые натюрморты; нечто в стиле Клее^[84], заколотый мужчина, хлебный ломоть луны.

Пока длился вечер, Эдвин скупил почти все картины. Сокрушался, что столько художников, охотно принявших фальшивые бумажки Боба, обладают столь малым опытом и мастерством визуального наблюдения, но, в конце концов, это их дело. Он начинал себя чувствовать зрелым гангстером. Художники обещали устроить доставку работ, и Эдвин, поразмыслив, дал больничный адрес и назвался Р. Дикки. По-прежнему не было никаких признаков Шейлы и хоть какого-то Найджела, по его это заботило меньше и меньше, пока текло спиртное. Надо отдать должное молодым художникам: они проворно разменяли пятифунтовые-банкноты на вино, спирт и подлинную валюту. В конечном счете клуб вроде бы тоже не пострадал: художник, казавшийся относительно преуспевающим в результате отсутствия бороды, пришел обналичить довольно крупный чек. И вышел с большим количеством фальшивых бумажек, с высоко поднятой головой, презрительно раздув от успеха ноздри. Поэтому на самом деле все было в полном порядке.

Юноша с прямыми волосами и черепашьей шеей Колина Уилсона снова занял стул в центре, ударил по тяжеловесному басовому ми, по дискантному невралгическому ровному ля, по жестяному ре, чистому соль, резковатому си. Потом начал петь увеличившейся по сравнению с прежней толпе очень в те времена популярную у молодых англичан песню:

историческую американскую балладу о конфузе британцев на Бостонском чаепитии^[85]. Однако Ф. Уиллоуби, Перводвигатель Уиллоуби, по-прежнему, как кольцевой ночной поезд, вертелся по кругу.

— Согласись, — сказал он, — это истинная проверка владения ремеслом. Рубенс мог это сделать? Тот самый, как его, одноухий, мог? А тот большой испанский художник с астигматизмом? Нет. А я могу, правда? Я их отдал тебе слишком дешево, — заключил он.

— Можешь еще фунт получить, — предложил Эдвин. И полез за пятеркой.

А граждане Бостона с перьями на голове
Валятся из трюма с грузом на спине.
Любо, братцы, любо, чайный льет поток,
Дэви Джонс^[86] напьется, черт внесет налог.

— Оценка тоже важна, — признал Ф. Уиллоуби. — На самом деле требуются патроны двух типов. Одни с деньгами, другие со вкусом. Пожалуй, хорошее соображение для женитьбы.

— Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш.

— Но, — сказал Эдвин, — если какой-нибудь автомат может лучше...

— Автомат лучше не может.

— Фактически, как фотография, да? — рассуждал Эдвин. — Чего фотография не дает, так это человеческого видения. Но человеческое видение принципиально не идеально. Как раз поэтому идеальный круг...

— Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш-ш-ш.

Эдвин надул губы, ответив поцелуем взъерошенной шикавшей девушке. Поцелуем? Что, секс возвращается?

— Слушайте, — сказал певец. — С меня хватит. Точно то же самое, что при декламации поэмы. Чистая невоспитанность. Либо он заткнется, либо я. — Гитара согласно звякнула.

— Извините меня, — сказал Эдвин, готовя пятифунтовую бумажку. Певец испепелил его взглядом и продолжал:

Грянула Революция славная,
За свободу Америки в бой, братва
равноправная...

В портьерах на дверях клуба возникли Найджел с Шейлой, Шейла в зеленом, в шляпке, похожей на лист.

— Шейла! — крикнул Эдвин, стараясь прорваться сквозь толпу.

— Ш-ш-ш-ш. Ш-ш-ш-ш-ш.

— Шейла! Шейла! — Но на зов Шейла ответила просто формальным взмахом. Мужчина с незнакомыми волосами, где-то когда-то, должно быть, встречавшийся, раз знает ее имя. Эдвин проталкивался, его отталкивали.

— Нельзя ли, — попросил певец, — получить разрешение закончить песню? Еще несколько строчек, и все. Позвольте мне вымолить в качестве одолжения эту небольшую любезность, черт побери. — Загудело сердитое одобрение.

Шейла и Найджел молчаливо переговаривались друг с другом: слишкомлюдно, слишкомнеудобно, слишкомтрудно получить выпивку, пошли куда-нибудь, где потише. Слишкоммного патронов сегодня. (Эдвинслишкомхороший патрон.)

Вздернем короля Георга, а раков^[87] зажарим,
Пускай катятся к черту, мы им крепкого чаю
заварим.

Шейла с Найджелом уходили.

— Шейла! — закричал Эдвин. Раздавались хлопки, соболезнования певцу, засверкали суровые взгляды на Эдвина. Он отчаянно пытался проложить дорогу к своей уходившей жене. — Шейла!

— Я не сгожусь? — сказала бесстыжая меднолобая женщина, не художница, просто торговка, принужденная к членству во множестве клубов запретом министерства внутренних дел на уличную мелочную торговлю. Она могла предложить богатому Эдвину плоть, — лучше краски. Певец, схватив гитару за шею, шагнул к Эдвину и сказал:

— Дурные манеры, вот чего я иногда терпеть не могу. Еще меньше терплю целенаправленные оскорбления. — И схватил Эдвина за пиджак. — Требую извинений.

— Почему? За что? Слушайте, вон там моя жена. Я должен к ней подойти. Ради Христа...

— Ты же Шейлой меня обозвал. Я хорошо слышал. Ты весь вечер меня доставал. Ну, я этого не потерплю...

Эдвин сбросил пиджак и попробовал улизнуть. Певец потянулся к воротничку Эдвина. Эдвин, разозлившись, толкнул его. Певец схватил

Эдвина за волосы, которые, к его ужасу, мигом остались у него в руках.

— Ну, гляди, чего наделал, — сказала меднолобая женщина. — Ответишь за это.

Байронический парик уже начал быстрый путь по клубу на уровне голов, как в игре в фанты, когда все боятся, что музыка вдруг остановится, и психопатически передают фант. Эдвин погнался за ним. Ф. Уиллоуби не помогал; он по-негритянски хохотал, обнажая надгробные плиты зубов. Парик достиг стойки бара, угнездился в небольшом пространстве над косоглазием бармена. Потом быстро завершил эллиптическое движение, вернувшись под бурные аплодисменты к Эдвину посредством шерстяной девушки, неуклюже сделавшей реверанс.

— Не особенно обращай внимание, милый, — посоветовала меднолобая женщина. — Пускай смеются, если хочется. Лысые мужчины, по-моему, привлекательные. — Она сама была привлекательной, хоть и меднолобо-бесстыжей: дерзкое медное тело, крутые плотные завитки волос медного цвета, груди под горчичным свитером сулили медную твердость. Подобное утверждение было милым с ее стороны. Эдвин выбрался, глянул направо, налево. Ни того, ни другого не видно. Наверно, поймали такси. Или очутились в каком-нибудь баре поблизости. Трудоемкое это и пьяное дело — искать свою жену.

Глава 22

Пока речь шла о розысках по пивным, проблема заключалась во времени: очень уж мало его оставалось. Вскоре совсем не осталось — бармен четвертого бара объявил о закрытии. В каждом из трех первых баров Эдвин приобретал двойной скотч, двадцать «Сениор Сервис» и четыре фунта двадцать шиллингов с пенни, постоянно оглядываясь в поисках Шейлы. Радуюсь нарастающему приливу подлинных денег в брючном кармане, начал гадать, зачем он ее ищет. Потом вспомнил: любовь. Вон оно что, любовь. Так он и знал, должно быть что-нибудь.

— Сними с головы эту штуку, — сказала медная женщина. — Гораздо без нее симпатичней. Честно. Люблю лысых мужчин. — Бармен объявил, что заказы последние, и она подошла к стойке бара. — Спасибо, милый, — сказала она. — Мне то же самое, что тебе, и лучше купи бутылку с собой.

— С меня хватит, — отказался Эдвин. — Хорошенького...

— Ни за что на свете, — заявила она. — Еще не вечер, а ты такой красивый, — и исполнила те самые легкие ритуальные колебания бедрами, которые порой проделывают женщины.

— На самом деле, это я должен был бы сказать, — заметил Эдвин.

— Не бери в голову, — отмахнулась она. — Хватит времени для комплиментов. И, — сказала она бармену, беря свой двойной скотч, — вот этот джентльмен хочет купить на вынос бутылку «Мартеля» три звездочки. — Эдвин протянул еще пять фунтов.

— Да у тебя их навалом, шеф, — добродушно заметил бармен. — Сам рисуешь, или как?

— Сам, — сказал Эдвин. — Неплохо для любителя, правда? — Все от души посмеялись над этим шутливым обменом репликами.

— Милый, как тебя звать? — спросила женщина.

Эдвин быстро сообразил и сказал:

— Эдди Рейлтон.

— Кому ты мозги пудришь? Эдди Рейлтон играет по телику на трубе. То есть, надо бы сказать, играл. Он теперь доктор. Да, говорят, завтра вечером снова будет играть. Обалденно смотрится.

— Ладно, — сдался Эдвин. — Сдаюсь. По-настоящему меня зовут Боб Каридж.

— Ой, какое милое имя. Как у большой овчарки или типа того. Правда, прелесть? На самом деле надо бы волосы зачесать на глаза. — Эдвин

послушался, низко надвинул парик. Она благодарственно громко расхохоталась, и он спросил:

— А тебя как зовут?

— Корал, — не без жеманства отвечала она. Забавно, подумал Эдвин, умение женщины приобщиться к своему имени, тогда как для мужчины это просто нечто ему принадлежащее. Имя отчасти смягчало ее металлургическую жесткость, привлекало внимание к губам, ногтям; благодаря его ассоциации с морем глаза приобретали цвет зеленой морской волны. Впрочем, имя, возможно, не настоящее.

Бармен объявил, что пора закрываться; мокрое полотенце задрапировало пивные капли.

— Ты ведь на всю ночь хочешь, *правда?* — сказала Корал. — Не просто по-быстрому позабавиться перед последним поездом?

— Ну, — сказал Эдвин, — идти мне некуда. Я имею в виду, не хочу возвращаться, спать втроем в постели со всеми этими овощами. Думал пойти в отель или еще куда-нибудь.

— Знаю самое что ни на есть подходящее место, — заявила Корал, беря его за руку.

— Но, — объяснил Эдвин, — я должен объяснить. Не думай, будто дело в деньгах или еще в чем-нибудь, можешь все получить, что захочешь, только, видишь ли, есть осложненьице.

— В чем дело? Господи, холодрыга какая. — Было определенно холодно; холод восседал на улицах персонификацией холода. — Такси! — крикнула Корал. Эдвин перехватил бутылку «Мартеля» на манер дубинки, ибо ему не понравился вид каких-то итальянизированных антропоидов впереди. — Такси! — снова крикнула Корал, и подъехало такси.

— Ты, да? — сказал шофер.

— Ты, — передразнила Корал. — Что за «ты», когда она дома? — И назвала отель за Тоттенхэм-Корт-роуд.

— Суть в том, — сказал Эдвин, когда они тронулись, — что есть определенное осложнение. Называется: отсутствие либидо.

— Порядок, — заверила Корал. — У меня времени полным-полно. Не возражаю, если ты не чокнутый. Да я с первого взгляда увидела, что ты не чокнутый. Всегда можно сказать по глазам. Никогда не поверишь, даже наполовину, чего порой требуют.

— Суть в том, — сказал Эдвин, — что я фактически требовать ничего не могу.

— Был один, — рассказывала Корал, — приволок меня к себе домой, а дом полный гробов. А в одном сбоку дверца, чтоб выбраться. Дикость?

Никогда не видала ничего подобного. Да платил он пять ников за каждый гвоздь, а дела шли неважно, когда янки свалили. Ну, давай гвозди вколачивать, сам орет: «Приготовься отправиться и предстать перед Господом», а я внутри трясусь, как лист, будь я проклята, только надеюсь, та самая потайная дверца не подведет. Так и было, иначе я тут тебе не рассказывала бы про это, правда? А другие все отдадут, лишь бы их отхлестали. *Все, чего пожелаешь.* Скажи своим звездам спасибо, что моей профессией не занимаешься, не имеешь дела со всякими чокнутыми, больше ничего сказать не могу. Мне нормальные вполне годятся, можно чуточку пообжиматься до и после. — И немножечко пообжималась с Эдвином.

— Суть в том, — сказал Эдвин.

— Прибыли, — объявила Корал. — Не особенно раскошеливайся на чаевые этому хаму. — Эдвин расплатился настоящими деньгами, за что шофер особой благодарности не проявил. («Пятифунтовой бумажки, вот чего ты заслуживаешь, дружок», — подумал Эдвин.) И регистратору в отеле заплатил вперед подлинными деньгами. С виду отель не был чисто функциональным: имелась крошечная комнатка с телевизором, служитель проводил их наверх без подмигивания и ухмылок. В спальне стояла домашняя двуспальная кровать, под ней льдисто поблескивал ночной горшок; электрический камин, счетчик шиллингов. — Холод адский, — воскликнула Корал. — Открой бутылку, дай дернуть. — Эдвин в поисках шиллингов вывалил на постель серебро. — И десять хрустов заодно на каминную полку, — сказала Корал. — Потом можно будет позабыть про деньги, понятно?

Они сели в кресла у огня, попивая бренди из одного стакана для зубных щеток.

— Люблю мило поговорить, — призналась Корал, — прежде чем взяться за дело. Как-то больше по-человечески получается. И приятно поболтать с образованным, вроде тебя.

— Суть в том, — сказал Эдвин.

— Я и сама училась. Книги, музыка и так дальше. И что это дает? Что это тебе дало? Облысел раньше времени от учения, осмелюсь сказать, зачитался книжками, по глазам твоим вижу. Не то чтоб мне не нравились лысые головы. Я лысые головы очень даже люблю. Сними-ка эту штуку, — сказала Корал. — Правильно. Прелесть. По-настоящему привлекает. — И нанесла на скальп Эдвина липкий поцелуй. Потом несоблазнительно задрала юбку, принялась отстегивать чулки. — В постели теплее, чем в комнате, — заявила она.

— Суть в том, — сказал Эдвин, — что я не могу.

Корал остановилась, держа в пальцах подвязку.

— Чего не можешь? — спросила она, не сводя с него глаз. — На войне чего-то отстрелили или еще что-нибудь?

— Нет, нет, не то, все в порядке. Я просто не могу. Отсутствие либидо. — Эдвин сглотнул. — Так это называется.

— Ты уже говорил, — напомнила Корал. — Это еще что за член?

— Это не член, — объяснил Эдвин. — Просто я не способен почувствовать интерес. Ни к одной женщине. Поэтому моя жена ушла с другим мужчиной, с бородатым художником.

— С бородами несколько не лучше, — заметила Корал, качнув головой. — С волосами несколько не лучше. Вот тут Библия ошибается. Хотя меня волосы не особо волнуют. Так или иначе, что ты хотел сказать своим замечанием? Насчет интереса к женщинам?

— Пожалуйста, — попросил Эдвин, — не сердись из-за этого. Это вовсе не значит, будто я не считаю тебя привлекательной. Ты очень привлекательная. Только я ничего не хочу в связи с этим, и все.

— Тебе, что ли, больше с мужчиной понравилось бы? Ты, что ли, гомик? Тогда какого черта ко мне привязался?

— Ничего я не привязывался, — возразил Эдвин, — как тебе отлично известно. И нечего жаловаться. Вон деньги на каминной полке. Можешь просто уйти, правда? Десять хрустов ни за что ни про что.

— Правильно, — сказала Корал. — На мороз меня выставить. Выставить душой чертовой перед администрацией. У меня тоже гордость есть, правда?

— Но ведь для тебя, — сказал Эдвин, — это, конечно, лишь способ зарабатывать деньги?

— Ох, деньги, — хмыкнула она. — Деньги — неплохо, по-моему. Только жизнь ведь не может быть просто в деньгах, и ни в чем больше, правда? Серьезно. Меня это обижает. Уязвляет в самое больное место. Я хочу сказать, ты не гомик, не чокнутый, на войне ничего не отстрелено. Потом я раздеваюсь, ложусь вон в ту постель или тут перед камином, а ты можешь только сказать, будто не интересуешься. Да еще с такой лысиной.

— И это действительно все, что есть у вас, девочек, на продажу? — сказал Эдвин. — Пассивность? Просто становишься вещью, куда время от времени грязную водичку сливают? Чтобы уязвить *меня* в самое больное место?

— Ты хочешь сказать, — изумилась Корал, — первый раз? Никогда раньше не пробовал? Я у тебя первая буду?

— Ну, не будешь ты первая, — сказал Эдвин, — как тебе отлично известно. Впрочем, — поправился он, — полагаю, да, первая. Никогда нужды не было. Понимаешь, я рано женился. Я имею в виду, никогда еще это не делал за деньги.

— И сейчас не придется, — объявила Корал, — если будешь разговаривать в таком тоне. У меня тоже есть чувства, как и у любого другого. Не собираюсь терпеть оскорбления.

— Прошу тебя, пожалуйста, — попросил Эдвин. — Я тебя не оскорбляю. Пожалуйста. Ты мне нравишься. Ты, по-моему, милая. Но я попросту ничего не могу. Вот и все.

— Ну, нет, — сказала Корал, — не все. — Поднялась с кресла, воинственно сдернула свитер, взялась за пояс для чулок, словно перед наступлением застегивала портупею. — Ты тоже раздевайся, — велела она, — иди грей постель. Скоро увидим, можешь ты чего-нибудь или нет.

Глава 23

Эдвин проснулся виновато поздно. Знал, что поздно, слыша громкий шум Лондона за работой. В любом случае, громкий шум Лондона. Корал ушла, оставив на своей подушке свернувшийся кошкой парик. Эдвин обессилел, но чувствовал большой аппетит. Вызвал в памяти рассеянные фрагменты ночи, грубо сложил воедино, как разорванный документ. Девка тяжело потрудилась. Заработала свои десять фунтов, которые — он видел — исчезли с каминной полки. Понадеялся, что проблем с ними у нее не будет. Голый вылез из постели, поежился, включил электрический камин. Ничего не засветилось; он вспомнил: они не позаботились его выключить вчера ночью. Полез в карман за шиллингом, с интересом узнал, что все серебро исчезло. И банкноты пропали, фальшивые и настоящие. Ладно, наверно, она заслужила. Только все же хотелось бы заплатить за какой-нибудь завтрак. Оставила все сигареты — добычу из нескольких одураченных пабов — и спички. Любезно с ее стороны. Эдвин надел брюки, рубашку, носки, бессистемно умылся в тазу, вытерся простынями. Девка тяжело потрудилась: многочисленная колонна тракторов-тягачей, чтоб расколоть соломенный арахис. Нет, это уж чересчур. Получено решительное доказательство возможности реабилитации: блеска золота в реке. Эдвин окончательно оделся и, прежде чем надеть парик, внимательно исследовал голый скальп незнакомца. К тому же там что-то росло: нечто вроде пушка, осязаемого на ощупь. Превратившись в сносного поэта с растительностью, он, не испытывая полного неудовольствия, приготовился выйти. Карманы набиты сигаретами. Есть спички. Девка мудро сказала, деньги — еще не все. Только он чертовски голодный. Могла бы оставить, как минимум, фунт. Два фунта.

Эдвин спустился по лестнице в вестибюль. Дежурил другой регистратор, с фамильярной радостью приветствовавший его.

— Дама записку оставила, — сообщил он, протягивая свернутый клочок туалетной бумаги. Неподписанное послание гласило: «ВРУН». Места много, могла бы поговорить, правда? Врун, надо же. — У нас тут всякие бывают, — сказал веселый регистратор. — Каких только нету людей.

Шагая по деловой улице к большой цепочке ресторанов, владельцы которых во время войны кормили его индивидуальными фруктовыми пирогами, Эдвин сочинил литанию по самому себе:

Несоблазнительный соблазнитель,
Трахальщик бедных трактирщиков,
Котик котельного мафиози,
Чистильщик Часпера,
Молотильщик мебели,
Виртуозный врун,
Фальшивобанкнотчик
И бесплатноед —
Молись за нас.

С изумлением увидав на часах в часовой мастерской почти половину двенадцатого, поспешил к большому ресторану, с восхищением обнаружив безумное дробление и обособление, исключаящее — для буквально мыслящих — возможность полного сбалансированного питания. Ибо там был кофейный бар, зал бифштексов, куриный гриль, картофельный кабинет (С Пылу С Жару Джамбо Мерфи Кусочками С Маслом), кондитерская, даже нечто вроде джунглей под названием «Мир Салата». Со временем Эдвин нашел бар «Пиквикский Завтрак», сел у стойки на стул, умышленно неудобный, и просмотрел меню. «С шести утра для Ранних Пташек до Полуночи для Полуночников», гласило оно. Прелесть. Усталая девушка (для нее никаких Пиквикских Завтраков) в высоком поварском колпаке приняла у него заказ. Он заказал оладьи с кленовым сиропом, пикшу с двумя вареными яйцами, свиную колбасу, бекон, *rognons sautes*^[88], тосты с горчицей, мармелад, много кофе. Разнообразные пиквикские персонажи одобрительно поглядывали сверху вниз со стены. Увидев фрикативно-билабиального Сэма Уэллера, вспомнил о своей популярной статейке. Потом. Полно времени. Тем временем много чего можно было сказать насчет сексуального упражнения, фактически возбудившего вот такой аппетит. Эдвин с радостью отметил живой спрос на завтраки и удобно расположенный ватерклозет «Муж.». Прелесть.

Ел, как ворон, срыгнув по завершении богатый контрапункт ароматов. Покончил с кофе, закурил сигарету, увидел, что девушка-подавальщица хлопочет над гигантской урной, издававшей сдавленный звук. Встал со стула, пошел к «Муж.». Снял там галстук, парик, засунул под рубашку. Вышел, шаркая, старый, согбенный, прихватив швабру в уборной. Не спешил, даже мешкал, бросая на завтракавших цензорские голодные взгляды. Потом похромал к двери, трясаясь, нерешительно посмотрел вправо, влево, медленно поплелся за угол. Легко, все чересчур легко.

Теперь пора в «Якорь», в темных очках, чтобы спрятаться от возможного Боба, где, наконец, безусловно, окажется Шейла, любящая и встревоженная, все уже слышавшая; но, возможно, теперь она рада будет узнать о его исцелении. Об исцелении? У него есть доказательства. Вернулось желание. Восстановилось нормальное обоняние. Никаких больше обмороков.

Будущее? Не валяй дурака, будущего не существует. Жизнь одним днем чрезвычайно стимулирует и на удивление легка, думал он, выковыривая языком из заднего зуба колбасный хрящ.

Нужно, однако, немножечко денег, на пинту, если Шейла объявится поздно или, возможно, сегодня совсем не появится. В конце концов, нету никакой особенной спешки с Шейлой. Эдвин увидел публичную библиотеку, Рескина^[89], засиженного голубями, изъеденного копотью, и вошел. В вестибюле слева и справа располагались уборные, он проследовал в одну, где его стошнило приблизительно пинтой мочегонного кофе, приладил парик, повязал галстук, приготовился к дальнейшим мелким преступлениям. Неужели к преступлениям в самом деле? Он ведь не только берет, но также и дает: теперь в «Муж.» были две швабры.

Эдвин вошел в читальню, многолюдную, мрачную. Обшарпанные мужчины стояли у откидных планшетов с газетами, точно каторжники у ступального колеса; здесь увядало редчайшее остроумие фельетонов, сообщения о графских разводах становились похабными. Старики на стоявших рядами фабричных скамьях читали в тесных обитых перегородках издания цвета молитвенников с выцветшими золотыми заглавиями: «Девятнадцатый век и далее», «Газета для птицеводов-любителей», «Парламентский журнал», «Ежеквартальник адвентистов седьмого дня», «Церковный органист», «Домашнее свиноводство». Один старик издал громкий лающий смешок, — вряд ли над чем-то увиденным в «Панче». Эдвин пошел к полкам с заплесневевшей Британской энциклопедией и «Боевыми кораблями» Гроува и Джейна. Выбрал довольно недавнюю, еще в чистой обложке, книгу по геральдике, не все страницы которой были попорчены библиотечными штампами. На формуляре стоял регистрационный номер, но экслибрис отсутствовал. Открыто сунув книгу под мышку, Эдвин, спокойно мыча, точно старец на солнышке, перекрутил планшеты с газетами, просмотрел заголовки. Отметил растерзание девушками-поклонницами очередного поп-певца-тинейджера; арест продавца контрабандных часов — к сожалению, не Боба; зима будет суровой; американский президент хочет мира. Интересно. Лениво, по-прежнему тихо мыча, вышел из читалки, вернулся в уборную.

Там очень осторожно отодрал формуляр, путем неспешного анализа убедился, что книга теперь сирота. Вышел из здания с геральдикой под мышкой, отыскал улицу книг секонд-хенд. В самом что ни на есть темном на вид магазинчике работал вертлявый дерганый мужчина в трех очках. Эдвин запросил пятнадцать шиллингов.

— Выяснилось, — пояснил он, — что в моей библиотеке уже есть экземпляр. Не всякому даже самому ненасытному любителю предмета требуется более одного. — Против предложенных пяти шиллингов возразил, но в конце концов принял.

До чего легко жить в этом мире, в огромном невинном доверчивом Лондоне. Назад к природе; повсюду растут плоды, только рви. Действительно, только дурак вернется к тяжкому труду преподавания лингвистики под солнцем Бирмы. Полный ли он дурак, Эдвин еще не решил.

Глава 24

— Вот он, — закричал Гарри Стоун, сильно толкнув Эдвина, как только тот шагнул в бар. — Де вы были, проклятье? Де-то сляется без разресения, кода весь этот проклятый город за ним гоняется. — Лео Стоун и Лес укоризненно на него смотрели, наряду со всеми прочими за пределами круга, который Гарри Стоун заразил своим горьким воплем. — Даем вам полсяса, — пригрозил Гарри Стоун, — всего полсяса, а потом запрем у себя, независимо, будут там две немеские суськи или не будут. Видис, — обратился он к Лесу, — низя тебе доверять. Порусили тебе присмотреть, и сто выело? Он удрал, токо к носи вернулся.

— Слушайте, — сказал Лес, — я этого не перевариваю. Человек рожден свободным, и кругом в цепях, как сказал Дж. Б. Пристли. Просто недостойно запирать человека против его воли. Я так понимаю, у него должен быть здравый смысл. Если человек не может сам себя разумно вести, тут уже никто ничего не поделает.

— Это, — объявил Гарри Стоун, источая страсть всеми органами и членами, — исключение. Он не хосет или не мозет разумно себя вести, будь я проклят. Не собразает, как вазно сбересь эту лысую голову до завтраснего весера. Как бы все не поело псу под хвост, — говорил он, подняв взор на парик Эдвина. — Один Иисус Христос знает, сего он с ней сотворил. Ну-ка, глянем. — Сорвал с Эдвина кудри, метнулся пантерой вокруг голого скальпа. — Надо бы хоросенько пройтись, — заключил он, — а так все в порядке. Хотя удивительно, будь я проклят, уситывая, сто он всю нось невесть сем занимался. Ну, — скорбно сказал он, толкнув Эдвина, — нахлобусивайте обратно, а потом пойдете при Лео и мной.

— С Лео и со мной.

— При Лео и мной. Проклятье, я тоже пойду. — И Эдвин был немедленно эскортирован из бара близнецами Стоун, крепко державшими его с обеих сторон, и псом Ниггером с бесконечным лаем и прыжками.

— Моя жена, — сказал Эдвин. — Что насчет моей жены?

— Васей зене нам приелось наплести кусю клятого вранья, — сообщил Гарри Стоун. — Для идеальной завтрасней сохранности вот этой вот головы.

— Значит, вы ее видели? — сказал Эдвин, стараясь вырваться. — Где вы ее видели?

— Она сейчас в баре-салуне, — сказал Лео Стоун, — выпивает с тем

самым бородатым молокососом. — Эдвин рванулся сильнее, и пес на него зарычал.

— Не говорил бы ты этого, Лео, — упрекнул Гарри Стоун. — Теперь он у нас возбудился, а это голове не к добру. Сюда слушайте, — горько сказал он, — не друг она вам, васа миссис. Знаете, сто стряслось? Посла она, понимаес, в больнису, взглянуть, как вы там, а ей говорят, ноги сделал, все зутко беспокоятся. Так она собралась обратиться к закону, расставить по всему распроклятому городу полисейский кордон, стобы вас отловить. Собралась заявить, мол, вы зутко опасный, вас таки надо поймать и засунуть обратно.

— Ох, — сказал Эдвин. — И она это сделала, да?

— Да, — сказал Гарри Стоун и, клацнув зубами, добавил с ядовитой квинтэссенцией горечи, с дистиллированной сокровеннейшей сутью желчи, полыни, алоэ в одном слове: — Зенссииа.

— Да только она никогда не узнает, где вы, — вставил Лео Стоун, — то есть узнает, когда поздно будет. Еще долго не выйдет из бара-салона «Якоря».

— Почему? Как?

— Вы сто думаете, — сказал Гарри Стоун, — будто мы с ним без мозгов, вроде вас, хоть вы и распроклятый перфессер. Не видите своими глазами, проклятье? Не видите, треклятый грузовик застрял там, в переулке, никто не мозет ни войти, ни выйти, все надолго заперты в салуне? Да ведь там дверь салона, — встряхнул он Эдвина, — вон в том переулке. Нынсе кое-кто на работу не попадет, — скорбно объявил он, — если тот самый софер свое дело не сделает подобаюссим образом.

— Но, — сказал Эдвин, — если б я объяснил, если б я доказал... Знаете, ведь теперь со мной все в порядке. Я излечился. Всегда знал, что операции на самом деле не требуется. Если бы я ей мог объяснить... — Но его уводили от жены все дальше и дальше. — Телефон там есть? — допытывался он. — Если б я мог поговорить...

— Нету там телефона, — отрезал Гарри Стоун. — Токо будка серез дорогу, никто до нее добратсья не смозет. Ну, теперь вам несего ни о сем беспокоиться до завтраснего весера, ясно? Кода приз завоюете, хватит времени для беспокойства, да тода узе беспокоиться будет не о сем.

— Какого вы ей вранья наплели? — спросил Эдвин.

— Ничего особенного, — заверил Лео Стоун, толкнув его в левое плечо. — Говорим только, будто вы живете с одной старой стервой где-то возле Степни. Говорим, стерва вроде мамыши, хлопчет про вас. А чтоб она не особенно беспокоилась, говорим, вы нет-нет да опомнитесь. Тут она и

затеяла насчет обратиться к закону.

Они подходили к высокому фасаду эпохи Регентства, благородному в своем упадке; бывшая фамильная целостность ныне злобно расклевана на бесчисленные клетушки для съемщиков.

— Вот, — с отвращением сказал Гарри Стоун. — Вот тут вот мы торсим при крайнем неудобстве.

Через два пролета голой лестницы с ободранными, висевшими ключьями оригинальными обоями эпохи Регентства на стенах дошли до двери, давно лишившейся краски. За ней оказалась большая высокая комната с двумя кроватями. В одной лежала Рената, в другой две плоскогрудые девушки, которых Эдвин помнил по тому самому воскресному дню в клубе, — немецкие девушки, нашедшие его шлепанцы. Они молча, спокойно, эффективно спали; Рената нерегулярно всхрапывала и булькала.

— Вы токо поглядите на них, — с омерзением предложил Гарри Стоун. — Вставай, — крикнул он, — проклятая немеская корова, — и, атлетически высоко вскинув ногу, пнул презентабельный зад Ренаты.

— Вот этого не надо, — сказал Лео Стоун. — Не забывай, это я с ней живу, а не ты. — Впрочем, тон его жестким не был.

— Сутис? — отвечал его близнец. — Мы с ней оба зивем, прости Господи; хотя, если хосес, сам мозес пнуть. — И отвернулся, точно его тошнило.

Рената проснулась с невидящим взором, долго чмокала губами.

— So, — сказала она. — Wieviel Uhr?^[90]

— Время вставать таки с этой треклятой кровати, — сказал Гарри Стоун, — и поставить хоть сто-нибудь на плиту. Никто из нас не ел с последнего воскресного завтрака. — Применительно к близнецам Стоун, подумал Эдвин, это, возможно, буквальная правда, но, вновь проголодавшись, не стал отделяться от общего голодного крика. Рената села на краю кровати, зевая до смерти; прыгали, колыхались большие тевтонские груди, мозолистые ноги плоскостопы стояли на голом полу. Прозевавшись, она, видно, узнала Эдвина.

— Мой ты дорогой, — кивнула она. — Фунтов пять вчера, да, я на доппель джин вечером пропила. — И как бы с изумлением тряхнула головой. Потом надела туфли, мужское пальто, видно взаиморазделяемое как с Лео, так и Гарри, и довольно миролюбиво занялась поисками еды.

Эдвин сел на свободную теперь кровать, оглядел комнату. Было там изрядное окно эпохи Регентства с видом на телеантенны и осеннее небо. Был комод с ящиками, гардероб, оба того типа, что нередко фланкируют

двери мелочных лавок; богатая радиола за семь фунтов, бляевшая, как старуха, пытающаяся говорить на языке молоденьких девушек. Был газовый камин, газовая горелка и счетчик. Рената открыла горелку, но шипения не слышалось; чиркнула спичкой, огонь не загорелся.

— Шиллинг, — сказала она, — иметь надо.

Лео Стоун оглянулся так, словно у него была сломана шея, и молвил:

— Вчера была груда шиллингов. Что ты с ними сделала, а? Что ты сделала с грудой шиллингов, которую я собрал, ползая зачастую на четвереньках в этом районе, столь жадном до проклятых шиллингов для старых дев-сиделок, претерпевая смертельные муки и унижение перед лицом частых отказов, а? — Это был новый Лео Стоун, без драматических и торговых голосовых масок. Он приближался к своей любовнице, как обезьяна со сломанной шеей, с застывшими руками-крюками. — Шиллинги, шиллинги, шиллинги, — произнес он крещендо. — Что должно было пойти на подкрепление, на тепло и питание, уходит на джин. Так, верно? На джин. Сколько раз я приходил усталый домой, жаждая еды и уюта, — право каждого человека, независимо от цвета кожи и вероисповедания, — и вместо этого обнаруживал, что газа нет и на него нет денег? Вот какой награды удостоился я за то, что холил и лелеял ту, кто по всем основаниям враг? Да, враг, клянусь Богом. Ибо дом рабства в нынешние времена — это проклятый Дойчланд. Ах, ja, ja, richtig^[91]. Вот они, проклятые побежденные, купаются в роскоши, жиреют, жируют на еврейском поту, транжируют собранные на газ шиллинги, превращают их в джин для чертовой старой шлюхи, пропитанной джином, обожравшейся кислой капустой, в какое-то проклятое, ублюдочное и никчемное черт его знает чего для никуда не годной бездельницы, отвратительной и непривлекательной шлюхи. — Он перевел дух.

Гарри Стоун сказал:

— И я тоже так думаю.

Две немецкие дочери крепко спали в блаженном мифе: кольцо в лесу, стерегущий дракон, блистательный герой с мечом. Рената громко сказала:

— Ach, жид. Жидовская свинья. Сало жидовских свиней для утучнения земли Германии. Больше хорошего ничего.

— Возьми свои слова назад, — сказал Лео Стоун, подходя ближе. — Возьми назад проклятую клевету, или я глотку тебе перережу вот этим вот хлебным ножом. — Рената заметно все больше пугалась. — Сейчас же, — сказал Лео Стоун, хватаясь за лацкан пальто, — возьми их назад.

— Жидовская свинья и собака, — настаивала Рената. — Жидовское сало на мыло для мойки свинарника. — Лео Стоун с озаренным долгой

ненавистью своего народа лицом провозгласил:

— Единственное хорошее, что когда-нибудь у вас в Германии было, — евреи. Так?

— Нет, нет. Евреи свиньи. Ох, — сказала Рената, обхватывая себя руками, — да, да. Евреи хорошие, очень хорошие. Хватит теперь, свинья жидовская. Евреи очень хорошие.

— Вы, — яростно обратился к Эдвину Лео Стоун, — образованный. Кто великие люди Германии? Писатели и всякая дребедень?

— Ох, — сказал Эдвин. — Слушайте, у меня тут завалялись два шиллинга. Давайте зажжем огонь, ради бога. — Гарри Стоун подошел, скорбно забрал два шиллинга, зажег газовую горелку. Миниатюрные язычки пламени с шипением уютно горели. — Ну, — сказал Эдвин, — Гете, Шиллер и Гейне. Коцебу, Вагнер, Шуман. Ницше, Кант, Шопенгауэр и Бетховен. Ганс Сакс и Мартин Лютер.

— И все они были евреи, да? — грозно уточнил Лео Стоун. — Каждый этот немецкий ублюдок — еврей. Скажи да, будь ты проклята, или я с тобой разделаюсь.

— Нет, нет, — сказала Рената. — Да, да, — поправилась она. — Все евреи. Гитлер — грязная свинья чертова. Тоже еврей.

Лео Стоун уронил смягчившиеся руки.

— Пока ты помнишь, — предупредил он, — кто тут хозяин. На самом деле проблем нам не надо. Мы хотим любви, мира, согласия, как учили в старые времена. Мы хотим шиллингов в счетчике и готовой горячей еды, как только попросим. Ну, давай пошевеливайся. — Газовая горелка источала шипящий яд. Рената зажгла конфорки. Лео поцеловал ее в щеку. Все было забыто.

— Я тут так думаю, — сказал Гарри Стоун, — можно вон тех двух использовать. — Его печальные задумчивые глаза устремились на спящих сестер. Эдвин сказал:

— Разве клуб сегодня не откроется?

— Сутите? — закричал Гарри Стоун. — После визитов закона? После того, как вы отключились, впусив им подозрения? Нам придется на время поглубже залезть.

— Кажется, я тебя понял, — сказал Лео Стоун. — Одеть и использовать в качестве пары подружек невесты. А он пусть возьмет в руки какую-то палку и следует взади. Типа на коронации.

— Правильно, — подтвердил Гарри Стоун. — Вон та занавеска сгодится. — И действительно, одним концом к багету над окном прикреплена была тонкая, побитая молью, длинная красная как бы

фланель.

— Эти девушки, — сказал Эдвин. — Чем они занимаются на самом деле?

— Ну, — сказал Лео Стоун, — знаете, ночной работой. Мы не совсем в курсе, чем именно, по чем-то занимаются вместе. Две хорошие девушки, если узнать их поближе. Мы зовем их Лили и Марлен. — Мать их тем временем жарила какую-то чесночную мешанину и напевала:

Mit blankem Eis und weisscm Schnee
Wcinachten kommt, juchhe, juchhe!^[92]

При упоминании о Рождестве она тихо заплакала, роняя слезы на сковородку, думая о Младенце Христе, о свечах, о тихой снежной ночи, о звоне пивных кружек. Лео Стоун сказал:

— Господи Иисусе, чуть-чуть не забыл. Мне ж надо репетировать. Правда, мысль неплохая, на нем испробовать.

— Токо песню? — уточнил Гарри Стоун, протянув трость своему близнецу.

— Только песню. Прочее могу экспромтом. Знаешь: простите за чуточное опоздание, просто от непроходимости пострадал по дороге. И тому подобное. Вполне легко выходит. Свет, — скомандовал он. — Музыка. — Никакой музыки не прозвучало, однако Гарри Стоун включил единственную голую лампочку, отчего в комнате стало не столь уютно. Спящие сестры заворочались, застонали, нахмурились. Лео Стоун запел в старом хриплом стиле кокни:

Каждый вечер мой старик
Тащится в пивнушку.
Пропивать он там привык
Каждую полушку.
Когда явится домой,
Мне накостиляет
Да поднимет хвост трубой,
Только черти знают.
Крошке Джеку врежет
За кухонным столом,
Дядю Джо зарежет
И тетю Мейбл притом.

Дети в койке мирно дышат,
Помня, что он затевает.
А когда шаги слышат,
Мы все вместе запеваем...

— А теперь, — объявил Гарри Стоун, — мы все хором вступаем. — Лео Стоун пел дальше, исполняя одновременно рудиментарный танец с тростью:

Он все равно, он все равно
Достанет их назло.
Он ведь просто алкаш,
В стельку пьяный.
Пузо пивом налил
И хохочет, дебил.
Все равно, все равно
Их достанет назло.

Тут погас свет, требуя шиллинга; Лео Стоун прыгал тенью на фоне горевшего газа и восклицал, репетируя хор.

— Еда, — объявила Рената. — Мои дорогие, готова еда.

— Надо по голове бритвой пройти, — возопил Гарри Стоун. — А света нету. Света, света, — стонал он. — Ох, будь все проклято ко всем таки сердцам.

Привлеченный запахом практически невидимой еды, шлепнутой Ренатой на четыре тарелки, из-под кровати девушек выполз пес Ниггер, скуля и потягиваясь. Девушки, как в комедии, одновременно перевернулись; почти было видно дрожание бубенчиков в их эскимосских прическах. Они прочно спали. А Ниггер, виляя хвостом на сложный аромат чеснока, томатного соуса, горелого жира, вареных бобов, жареного черствого хлеба, кусочков бекона и тертого сыра, положил бороду на колено Лео Стоуна, как на скрипку, и поднял пылающий обожанием взор. Ругань хозяина и хозяйской сожительницы для него звучала звуками флейты и виол.

— Нету вон у тех у двух в постели каких-нибудь денег на свет? — спросил Гарри Стоун. — На всю распроклятую ночь денег нету. — Стоя у камина, он тыкал вилкой в еду на темной тарелке. — Сто это у них, прости

Господи, за работа, с которой денег домой не приносят?

— Им спать, — сказала Рената, — днем время. Деньги сна во время человек не тратит.

— Но сто за работой они занимаются? — настаивал Гарри Стоун.

— Своей матери для работают они, — с гордостью провозгласила Рената, вытирая хлебом тарелку. — Тяжкий труд, мало денег, не сержусь я, однако, если они приносят джина на бутылку одну вечер каждый достаточно. Достаточно, мать ибо я не жестокая.

— СТО ОНИ ДЕЛАЮТ? — рявкнул Гарри Стоун и ткнул вилкой в стену.

— Могут они делать что? — сказала их мать. — Из-за войны жестокой ни образования не имеют они. Мало спикают на языке английском. В Лондоне во время ночное с отзывчивым девушек телом имеется работа для. Деньги шиллинги порой единственные тяжелым трудом мне приносят они.

— Силлинги, — скорбно сказал Гарри Стоун. — Силлинги на свет, на газ, которые ты спускаес на дзин. — Однако он принялся шариться в поисках бритвы, схватил с полки жестяную кружку с холодной водой, потом приказал Эдвину подойти к газовой горелке. Бритье было проделано тщательно, хотя и агенту и пациенту пришлось горбиться над горевшими язычками газа. Милый домашний вечер: две немки-проститутки в постели, их мать зубом цыкает, Лео Стоуна слышно в уборной, Ниггер моет тарелки и сковородку. Эдвин у огня стал гладким, как яйцо. — Прелесть, — сказал, наконец, Гарри Стоун, ощупав пальцами френолога скальп Эдвина. — Дело выгорит нынсе весером, если вы никакой глупости не усюдите.

Глава 23

Из пяти шиллингов у Эдвина остался теперь один четырехпенсовик. Трем мужчинам и псу с одним четырехпенсовиком на всех надо было добраться до кинотеатра на другом конце Лондона. Стало быть, приходилось идти, но казалось, что времени много, сигарет у Эдвина полно. Решили потратить четырехпенсовик на нехитрое угощение для Ниггера. Немножко поспорили, потаращились в окна дешевых мясницких, в конце концов купили костей с ошметками мяса. Ниггер к ним прикасаться не пожелал. Гарри Стоун, суровый лицом, вернул мяснику кости с уничижительными замечаниями насчет их качества, получил назад четырехпенсовик, после чего купил старую рыбу голову у как раз закрывавшегося рыботорговца. Ниггер с ней забавлялся почти всю дорогу.

Восход луны был прекрасен. Шагая на восток, говорили о многих вещах. Законные способы делать деньги: небольшая сигаретная фабрика на подобранных бычках; ночные туры с экскурсоводом для американских туристов; ставка Лео на жеребца; продажа на радиоантенны старых матрасных пружин; домашнее изготовление картофельных чипсов; крем для лица из конского сала; обучение Ниггера трюкам; хиромантия; возвращение Лео на сцену; продажа пыли в качестве нюхательного порошка; продажа идей крупным фирмам (холодильник с задней дверцей, двухголовые спички ради экономии дерева, машинка для щекотки, подача горячей воды в унитазах); депортация Ренаты, после чего две ее дочери работают только на Стоунов; суповой шестипенсовый бар без ограничения хлеба; продажа туристам в Вестминстере миниатюрных значков (по полдайма) с изображением «Золотой лани»^[93] в конвертах по девять пенсов; уличное пение под видом слепых и хромых соответственно; знакомство на Кингс-Кросс с одинокими девушками и их отправка на промысел; дорогие ароматические пузырьки, наполненные «Суар де Сток-на-Тренте»; Эдвин в роли голодающего в интермедиях; лечение от курения (негорящие сигареты); торговля телом Лео для извращенцев; добрый честный труд. Старый Лондон: ворота Сити от западного Лада до восточного Олда^[94]; Финсбери Филдс, Сент-Олав; Темз-стрит и флитский ров; газовые фонари и угорь в желе; Джек Потрошитель; Суини Тодд^[95]; принцы в Тауэре;^[96] трудно выкрасть королевские регалии. Классические убийства; старый плут джентльмен; путешествия для расширения кругозора. Ниггер, танцуя, все гнал перед собой рыбу голову, счастливый,

как луна в небе.

Именно Ниггер, хоть и не по своей вине, накликнул беду, едва не угробив весь вечер. К моменту происшествия он вместе с Эдвином и хозяевами находился от цели приблизительно через улицу. Они добрались до района, уже хорошо известного мировой прессе в качестве сцены расовых беспорядков, любопытно лишенного всякой полиции, с бандами, постоянно торчавшими на углах и в дверях.

— Ну-ка, — сказал Гарри Стоун своим компаньонам, — потисе тут. Нисего не говорите, нисего не делайте. Проблем нам не надо, токо не сегодня.

Эдвин с интересом взглянул на слонявшуюся группу юнцов с обезьяньими лбами, с лицами восковых масок ужасов, одетых и причесанных на самый что ни на есть цивилизованный по контрасту манер. Пиджаки длинные, как британское лето, штаны почти эпохи Второй империи, обувь на высоченных многослойных подметках. Драматически взбитые волосы не балансирует поэтический галстук; галстук вместо этого рудиментарный — простая веревочка. Этот коллективный дендизм, думал Эдвин, — безумный синтез бунтарства и конформизма.

— Консяйте на них пялиться, — предупредил Гарри Стоун. — Они с нами с тремя не задумываясь разделаются. — Тут радостно прыгавший Ниггер проплясал с рыбьей головой в зубах слишком близко, и один юнец его пнул. Ниггер, хоть и не задетый, взвизгнул от страха и от неожиданности, бросил рыбью голову и побежал. — Распроклятая, — громко сказал Гарри Стоун, — грязная пакость, поганая, зутко трусливая. Пинать, будь я проклят, нессястного беззасситного пса.

Лео Стоун тем временем, обеспокоенный испугом пса, помчался за ним с криком:

— Ниггер, Ниггер!

К несчастью, в тот самый момент трем настоящим вест-индским неграм довелось выйти из дома, битком набитого изгоями, увидеть белого мужчину, стоявшего посреди мостовой, услышать, как он выкрикивает ничем не заслуженное оскорбление:

— Ниггер! Иди сюда, глупый ублюдок!

Эдвин видел, как три негра — красивые мужчины в дождевиках, в мягких фетровых шляпах — направились к Лео Стоуну. Они уже пресытились белым презрением, усвоили, что невосприимчивость лишь распаляет его. К ним присоединились двое других представителей той же расы из другого дома, чей слух уловил крики Лео. Тем временем семеро неотесанных денди медленней и далеко не так грациозно готовились

ликвидировать Гарри Стоуна.

— И, — сказал Гарри Стоун, — на меня наезжать тосьно так же трусливо. Согласен на любого из вас, однако не на всю, понимаес, проклятую кусю. — Действия это не возымело: отживший кодекс, закон справедливости. Искренне шокированный Лео Стоун виновато объяснял: он просто звал пса, вот и все, названного Ниггером в связи с окрасом. Объяснение было принято совсем благосклонно.

— Слушайте, — сказал Лео Стоун, — я докажу, что правду сказал. Еще раз позову. Вон он, видите? — И в отчаянии снова бешено прокричал ненавистное слово. Но Ниггер не реагировал, смахивая на глупую уличную дворняжку с поджатым хвостом; славный пес, только умом не слишком блистает.

Растерянный Эдвин переводил взгляд с одной компании на другую. Близнецы сходились, соответственные преследователи за ними. Может быть, уроженцы Вест-Индии с белыми лоботрясами находились в шатком перемирии. А теперь очутились лицом к лицу, фактически не готовые к битве, и вдруг с удивлением оглянулись на сдержанный профессорский голос Эдвина:

— Это ведь очевидно бессмысленно, правда? Произошла просто пара недоразумений, и все. Предлагаю всем согласиться забыть о случившемся. — Гарри и Лео Стоуны обменялись кивками, Лео мигом рванул; белые вместе с черными обнаружили, что собрались убить, покалечить и прочее одного и того же субъекта. Неужели уверенность в его существование в двойном экземпляре за одну секунду до начала речи вон того другого мужчины — коллективный бред?

— Тосьно, — громко и устрашающе весело провозгласил Гарри Стоун, — просто проклятая куся распроклятых трусов. Поодиносъке не нравится, собрались таки вместе теперь расправиться с бедным проклятым зидом. Давайте, — пригласил он. — Серный с белым ради такого дела. — Белые лоботрясы выхватили велосипедную цепь, быстрый негр — нож. И через полсекунды схватились друг с другом. — Хоросо, — сказал Эдвину Гарри Стоун. — Пускай их. — Они побежали, оставив позади шум битвы, потом Ниггер вдруг вновь осмелел, громко лая. Свою четырехпенсовую рыбью голову он потерял, но, наверно, уже позабыл.

Пробежав квартал, остановились, запыхавшись, и обнаружили поджидавшего Лео, уже почти отдышавшегося.

— Повезло, будь я проклят, — сказал Гарри Стоун. — Стиляги на зидов и сюрки на зидов, а теперь сюрки против стиляг. Нессястные проклятые зиды, — заключил он. — С самого насяла весь мир против них.

Египтяне, вавилоняне, филистимляне, теперь ессе распроклятая куся. — Гарри Стоун воздел руки, как голливудский пророк. — Сего плохого, — воззвал он к горе Синай, — мы сделали этим ублюдкам? Когда зидов выпустят из распроклятого дома страданий? Скоко это проклятье будет продолжаться? — Снова встретившись с Лео Стоуном, пес Ниггер начал кокетничать, лаял, упрашивал, чтоб его догоняли. Лео Стоун крикнул:

— Ниггер! Ниггер! Ублюдок дурной! — Легок на помине, явился негр в шапке, шатаясь, рассеивая перед собой, как цветочные лепестки, ромовый дух.

— Мужчина, — сказал он, — вы права не имеете вот так вот говорить.

Эдвин был уверен, что из-за кулис вот-вот выступит негритянский кордебалет. И сказал:

— Он звал свою собаку. Купил пса за фунт, за монету, за никер. Отсюда кличка: Никер. Он ее выговаривает с легкой тенденцией к произношению велярной взрывной согласной, отсюда определенная фонетическая двусмысленность. Он не хотел ничего плохого. Даже не говорил того, что вам показалось.

Ромового негра это не убедило. С близкого расстояния доносились удары и стоны продолжавшегося межрасового столкновения.

— Не люблю я длинные слова, — признался негр Эдвину, как из каминной трубы. — Если я неученый, то кто виноват? На рабовладельческих кораблях образования не получишь, старик. Кто привез нас сюда на рабовладельческих кораблях?

— Ну, хватит, — сказал Гарри Стоун. — Поели, будь я проклят. Все прегресения распроклятого мира встали на пасем пути по дороге на треклятый невинный конкурс лысых голов. — Но видно, мысли пса Ниггера шли в одном направлении с рассуждениями человека, разделявшего его окрас. Собак преследуют, собак унижают, собак держат в питомниках на цепи. Он легко прыгнул на Эдвина, поймал зубами прореху на брюках и дернул. Штанина мигом превратилась в подобие юбки с разрезом.

— Ниггер, ублюдок, — крикнул Эдвин вслед удиравшему псу, который размахивал зажатым в зубах вымпелом.

— Вот, мужчина, вы снова, — сказал пахнувший ромом представитель Вест-Индии. — Прямо напрашиваетесь на неприятности. — И качнулся назад, распевая печальную песню рабов XVI века.

— Вот сто бывает, — изрек Гарри Стоун, — кода сосредотосисся на одной веси в уссерб другой. Ты проклятый, плохой пес, Ниггер, — спокойно заключил он в скобки. — Все прямо обалдеют, кода мы таки

доберемся. Низя вам идти с голой ногой. Кроме всего просего, неприлисьно. Ну и распроклятый же выдался весер.

Еще несколько кварталов, поворот направо, а там в конце улицы сиял кинотеатр под названием «ПАНТЕОН». Они устремились к нему, словно к огню домашнего очага. Над входом в кинотеатр красовался гигантский портрет лысого актера с чувственными губами и сардоническими монгольскими глазами; видимо, прототип всех вечерних соперничавших безволосых.

— Теперь парик сымайте, — приказал Гарри Стоун, — стоб было видно усястиика конкурса. — Эдвин стянул свои кудри, сунул для надежности под рубашку; пара кудряшек, высовываясь, намекала на мужественность. «СЕГОДНЯ, — вопила бегущая световая строка, — ГРАНДИОЗНОЕ СОСТЯЗАНИЕ. ЛЫСЫЙ АДОНИС БОЛЬШОГО ЛОНДОНА. КТО?» — Токо один на это ответ, — уверенно изрек Гарри Стоун. И они зашагали — Эдвин с колотившимся от дурного предчувствия сердцем — к служебному входу.

Глава 26

На второй день своего пребывания в армии Эдвин присутствовал на некоем духовном параде, где старшина роты скомандовал:

— Негодные к военной службе сюда, резервисты туда, мужики, любители трахнуться, в середину.

Толстомясый мужчина в фосфоресцирующем смокинге проводил теперь такого же типа сегрегацию за киноэкраном, и Эдвин оказался членом подозрительно озиравшегося мужского стада. Видно было не особенно много других конкурсантов, ибо экран занимала какая-то битва гигантов в темном подвале с космическим пыхтением. И возможность для разговоров отсутствовала из-за бробдингневского музыкального стереофонического кошмара. Когда колоссальные лошади произвели финальное землетрясение на залитой солнцем равнине, Эдвин смог оценить соперников. Они не впечатляли: казалось, у многих лысина возникла естественным образом, в ходе синдрома распада; был еще лысый мальчик лет десяти, умевший устрашающе шевелить своим скальпом. Во время долгой немой интерлюдии с громадным поцелуем худой мужчина типа мастерового, приблизительно ровесник Эдвина, сказал:

— Просто ведь для потехи все это.

— Да.

— На самом деле, я так понимаю, не очень-то хорошо. Да, по-моему, кто-то ведь должен участвовать.

— Верно.

— Моя миссис взбесится, если узнает. Меня, понимаешь, другая на это толкнула. — Из смутного мерцания внезапно вырвался поток грохочущих лошадей-чудищ, и Эдвин ничего больше не слышал. Мужчина в смокинге, светясь в темноте, как длинная селедка, суетливо расхаживал с номерами на карточках, молча шевеля среди шума губами. Эдвин повесил себе на шею большую черную «8». Потом под гордые тромбоны, звучавшие громче всяческих грез Берлиоза, фильм подошел к концу, вспыхнул свет. Возник Гарри Стоун в подштанниках, тонконогий, впрочем, как ни странно, в носках на подвязках. Протянул Эдвину скомканный тук и сказал:

— Придется вам таки мои станы взять. Везде безуспешно искал, будь я проклят, не насел ни одной пары, стоб свистнуть. Скорей одевайтесь.

Заиграл старомодный джаз-банд, встреченный бурными аплодисментами. Гарри Стоун с мрачным скорбным взглядом исполнил

короткий мохноногий кекуок. Издалека доносился лай Ниггера, предположительно запертого в какой-то уборной. Эдвин обнаружил, что штаны чересчур коротки: видна была добрая доля носков. Ну, все равно, сойдут. Джаз-банд, задействовав все инструменты в виртуозном хоре, разразился кораблекрушительным апофеозом, где каждый участвовал сам по себе. Аплодисменты окаймились воплями тинейджеров. Гарри Стоун вернулся к своему близнецу, Эдвин из-за кулис следил за продолжением представления. Экстатически приветствовали неряшливого юнца, спевшего, будто одна тинейджерская любовь настоящая вещь, а жизнь в двадцать кончается. С микрофоном он обходился как с тонюсенькой девчушкой, оказывал разнообразные ласки, потом пригнул к полу, припал к длинной стойке, с песней целовал головку, исполняя всем телом недвусмысленные ритмические движения случки. Девичьи вопли переросли в оргиастические, оргазмические. Неприхотливый век, думал Эдвин, экономичный век. Чтобы произвести подобный эффект — хотя только тактильный — на более старшее поколение, некогда требовалось все богатство «Тристана».

Толстомясый фосфоресцирующий мужчина вышел на сцену, чтобы объявить всех сегодняшних исполнителей чистыми любителями, однако — как знать? — кое-кто из этих любителей вполне способен стать профессионалом. Впрочем, следующий выступающий, объявил он, когда-то, много лет назад, был профессионалом, поэтому его следует соответственно поприветствовать. Тинейджеры взвыли в полуоргазме, зависли в воздухе, приветствуя Лео Стоуна, точно желали распять его.

— Токо послушайте эту проклятую кусю, — проговорил в ухо Эдвину голос Гарри Стоуна. Но Лео Стоун — семит, кочующий по буфетному миру, — с ухмылкой сказал, извиняюсь за опоздание, пострадал от непроходимости, а по пути в театр сегодня случилась забавная вещь, — встретился ему старый Абби Гольдштейн, направлявшийся в синагогу с крошкой Изей, говорит, мол, готовится к обрезанию наследника, а в свое время гулял с массой девушек, даже с одной по имени Нина, вот именно, Нина, верите ли, не годилась она ни на то ни на се. Он болтал и болтал, но никто особо не смеялся. Потом спел свою песню под неловкий, по памяти, аккомпанемент пианиста, но в хор мало кто вступил. Наконец, сказал он, ему хочется прочитать небольшой монолог, который называется: «Смейся, И Мир Посмеется С Тобой, Захрапи, И Будешь Спать Один».

— Он его таки сам написал, — сказал Гарри Стоун с близнецовской гордостью.

Жизнь — забавная штука, друзья. В ней и
радость, и горе;
Этот факт я открыл, много лет путешествуя
в житейском море.
Жизнь — апрельский денек, друзья, дождик
и солнце,
Пару раз посмеялся, сдохмил, поболел,
погрустил у оконца.

В этот момент на сцену явился Ниггер.

— Ой-ей-ей-ей-ей-ей, — взвыл Гарри Стоун со стиснутыми зубами, напрягая голос. — Проклятье, кто его выпустил? — Ниггер, узнав хозяина, направился к нему, всячески демонстрируя радость.

— Пошел в задницу, — видно было, как, скривив рот, выдавил Лео Стоун. Теперь нелюбезная публика засмеялась, но Лео сообщал быстро. Схватив Ниггера, он медленно, громко импровизировал:

Вот так вот идем мы по жизни к концу
ее круга,
Только была бы она пустяковой без друга.
С другом, друзья, с корешком, весела наша
жизнь без причины.
Наилучший друг девушки — мать, а пес —
для мужчины.

И раскланялся под бешеный аккорд оркестра, стиснув Ниггера, который теперь с собачьей непоследовательностью стремился вырваться. Публика иронично гудела и веселилась. Эдвин злился.

— А теперь, — сказал фосфоресцирующий мужчина, — еще один гость, который не прихватил с собой свою собаку: Ленни Блоггс из Бермондси споет вам «Сердце тинейджера».

Раздался свежий восторженный визг. Эдвин разозлился еще больше. Но Лео Стоун сказал:

— На самом деле все в порядке. Меня видели, это главное. Вон телекамеры. Нынче вечером я присутствовал в миллионах домов, вот что вам надо запомнить. Неделя не кончится, как в изобилии посыплется предложения о контрактах, обождите, увидите.

За проводившими Ленни Блоггса воплями последовало объявление о главном событии вечера.

— «Почетная Лысина Большого Лондона», — провозгласил конференсье. — Конкурс организован компанией «Мегалополитен пикчерс инкорпорейтед» в связи с выходом на экраны в будущий понедельник сенсационного фильма «Прибой», в главной роли Феодор Минтов, лысый сердцеед серебряного экрана.

— Это еще что такое? — сказал Эдвин. — Что творится? Откуда тут моя фамилия?

— Вы просто выйдите и таки победите, — заявил Гарри Стоун. — Фамилия ни при сем. Простое падение сов, вот и все. Подобаюссим образом выложите свои карты, и победите.

— Но, — сказал Эдвин, — я думал, вы говорили, будто все устроено. Я думал, вы говорили, что все согласовано.

— Полный порядок, — заверил Гарри Стоун. — Вы токо поглядите на этих молокососов усястников. Рядом с вами моськи уха не стоят. Вы просто красавес, вот так. Токо поглядите на эту голову. Поверьте в эту голову, и победите. Ну, посел теперь. Все узе марсируют. — И выпихнул Эдвина на цепу.

— Вруны, — сказал Эдвин, — пара врунов. Не пойду.

— Да ведь ты посел узе, парень, — сказал Гарри Стоун. — Зелаю удаси.

Эдвин очутился в кругу лысоголовых, топтавшихся на сцене, как на тюремной прогулке. Публика веселилась. На них были направлены телевизионные камеры, и в маленьком маршировавшем кружке на маленьком экране монитора Эдвин увидел себя, сердито глядевшего на миллионы телезрителей. Из оркестровой ямы медленно поднимался на гидравлической платформе джаз-банд, исполняя старую песню из мюзик-холла под названием «Ни одного волоска, волоска, волоска на башке». Солировавший трубач подозрительно смахивал на доктора Рейлтона. На сцене на возвышении за столом с оценочными анкетами сидели три дуры красоты, знаменитости с телевидения. Вбежал еще более глупый мужчина в болтавшемся вечернем галстукe, отвечая экстравагантными взмахами на радостный визг публики.

— Извиняюсь за опоздание, — сказал он несколько аденоидальным тоном. — Просто пострадал от непроходимости. — Публика грохнула. — Только что имел дело с девушкой, — продолжал он. — По имени Нина. Она ни на то ни на се не годится. — Публика с мест попадала. — А у нас нынче тут несколько симпатичных колганов, — сказал он. — Есть где мухам на

коньках кататься. Смотрите сюда, — сказал он, шлепнув Эдвина по голове, как по заднице. Публика чуть не умерла. — Ну-ка, все, кругом марш. — А вот, — сказал он, — у нас тут три очень симпатичных кустарных изделия, которые будут судить: Эрмина Элдерли, Дезире Синг, Хлоя Эмсуорт. Во-первых, исключим всякую рвань. Верно, девочки? Запишите номера без единого шанса. Марш, рабы, марш. Маэстро, музыку. — И начал подстегивать конкурсантов воображаемым хлыстом под игравший оркестр и радостные крики публики. Лысые шаркали круг за кругом. — Стоп! — завопил мужчина в болтавшемся галстуке. Глупые хорошенькие судьи хихикнули и объявили решение, принятое консенсусом. — Следующие далллой, — крикнул он, копируя рык сержанта, отчего публика обессилела. — Сорока. Полсотни три. Двадцать восемь, сено косим. Девять надцать. Чертова дюжина. И пятак. — Исключенные удалились, зря лишившись волос. — А теперь, — завопил мужчина в болтавшемся галстуке, — перетряхнем бочонки в мешке. Покуда слишком много, — огорченно заключил он. — Куча зомби. Марш, болваны, марш. Лево-правой, лево-правой, лево-правой. — И опять подхлестнул зашаркавший кружок, а ударник синхронно добавил россыпь. Публика утирала лившиеся из глаз слезы. В ходе следующего исключения мужчина в болтавшемся галстуке выкинул два нуля, барабанные палочки, туда-сюда, дедушку, одноглазого Келли и прочих. Эдвин пока не вылетел.

— Ты ессе таки в распроклятом меске, — прокомментировал из кулисы Гарри Стоун.

После финального исключения по сцене по-прежнему кружил Эдвин и еще четверо. Теперь дело дошло до расстановки лысин по достоинству. Мужчина в болтавшемся галстуке бегал вокруг, готовый умереть от волнения.

— Итак, — крикнул он, — начинается. — Мелодичные инструменты перестали играть, один барабан рокотал неторопливым крещендо. — Не вижу, — сказал мужчина, семена с бумажкой перед моргавшими глазами. — Канешно, вещь жуткая, я ж слепой, точно крот. — Публика скисла от смеха. — Ну, — сказал он тоном кавалерийского офицера, — все йясно. П-победдил, п-победдил, п-победдил н-номер-р-р ВВОСЕМЬ. — Гарри Стоун от волнения выскочил на сцену перед телекамерами без штанов. И снова убежал. Оркестр заиграл «Ах, зачем он родился красавцем?» с рвением и с определенной точностью. Эдвина повели к краю сцены в связке с мужчиной в болтавшемся галстуке.

— Как тебя звать, сынок? — спросил он у Эдвина. — Как мама тебя называла? — Эдвин сообщил. — Прелесть, правда? — обратился мужчина

к публике. — Он и говорить умеет. Просто пупсик. Ну, мистер Лысый Адонис Большого Лондона, что желаете сообщить огромной зрительской аудитории?

Эдвин увидел, как первый трубач — теперь явно доктор Рейлтон — быстро встал и вышел.

— Нечего мне сказать, — сказал Эдвин, — только чем скорей я отсюда уйду, тем лучше.

— Ах, вот какое отношение? — притворно возмутился мужчина в болтавшемся галстуке. — В чем дело? От меня плохо пахнет, или что? Ну, вот кто тебе по вкусу придется, сынок. Прелесть, да? — Приближалось видение в золотой парче с перламутровыми плечами, грудью, улыбкой, под шум музыки, смеха, свистков. — Вот она, твоя милочка, и моя, то есть, конечно, если б нам пофартило. РЕЙН УОТЕРС^[97], — объявил он. Публика взбесилась. Рейн Уотерс поцеловала лысину Эдвина, потом взяла его за руку. Эдвин видел в ее тонких пальцах с огненными ногтями чек: всего на десять фунтов. Близнецы Стоун точно ведь говорили, на сто? Рейн Уотерс заговорила со среднеатлантическим акцентом, искусно сконструированным, чтоб не обидеть американцев.

— Наверно, это для вас великий момент, — сказала она. Эдвин определенно видел в кулисах мужчин в униформе, ведомственных мужчин, которым невозможно оказывать сопротивление.

— Да, собственно, нет, — сказал он. — Знавал я моменты значительнее, гораздо значительнее. Фактически, мне как-то совестно за участие в этом. Очень типично, правда, для нынешних так называемых развлечений? Вульгарность с чертами жестокости и, пожалуй, с легким оттенком извращенной эротики. Продавщицы корчат из себя Елену Троянскую. Глупые мужички пытаются смешить. Глупые визжащие ребята. Взрослые, которым бы умней надо быть. Вот что я хочу сообщить огромной зрительской аудитории. — И, подавшись вперед, выплюнул в микрофон эротическое вульгарное грубое слово. Это была сенсация. Творилась история. Эдвин рванул в удобно подвернувшуюся боковую кулису, вполне определенно увидел крепких мужчин, присланных доктором Рейлтоном и готовых забрать его. С противоположной стороны близнецы Стоун безуспешно сражались с другими ведомственными здоровяками.

— Прыгай туда, будь ты проклят, — приказал Гарри Стоун. — Токо станы треклятые сперва отдай. — Эдвин снова выскочил на сцену, прыгнул через рампу, приземлился на музыкальную гидравлическую платформу. Пюпитры и музыка с жестяным звоном рухнули, аккордеон,

перевернувшись, издал мрачный аккорд. Эдвин метнулся в зал, слыша за собой гнев и собачий лай. Перепуганная публика подбирала подола, пока он бежал по покатому полу. Но один зритель остановил его на лету и сказал:

— Разрешите мне кратко выразить полное согласие, сэр, с только что вами сказанным.

Голос со сцены вроде бы прокричал:

— Остановите его. Он опасен для публики. Опухоль мозга. В любой момент может взбеситься. Не дайте ему уйти. — Это побудило публику открыть Эдвину полный простор для бегства. Какая-то женщина визгливо кричала:

— Пойди сюда, Альфи, побудь со мной, Аль-фи, я боюсь, Альфи.

Эдвин взбежал на вершину умеренно покатого пола, взглянул вниз на сцену. Казалось, среди прочих криков он слышит борющийся голос Гарри Стоуна:

— Засунь таки это в свою распроклятую задницу. — Ниггер рычал прелюдию к располосованию брюк. В хорошем освещении на сцене творилась некоторая сумятица, кто-то пробовал извиниться перед телезрителями. Эдвин выбежал через занавешенный ВЫХОД, оказался в фойе среди тоскующих изображений кинозвезд, побежал, задыхаясь, по мягкому ковру цвета переваренных бисквитов к огромным стеклянным дверям, к улице. Его приветствовал знакомый голос.

— Ну, вот и нам косточку бросили, а? — сказал Боб Каридж. — Нам с тобой, да? А может, и ребятам. Очень уж им досадило, что ты натворил. Давай залезай. — Жестокая хватка браслетом сомкнулась на правом запястье Эдвина. В знак серьезности грядущих событий Боб применил пресловутый удар по носу ребром ладони, после чего Эдвин был брошен на переднее сиденье, слизывая струйку крови из носа.

Глава 27

— На этот раз, — сказал Боб, пока они окольными улицами продвигались на запад, — ни-каких копченых лососей на заднем сиденье машины. Ничего тебе на этот раз, кроме того, что получишь. А получишь? Я бы сказал, получишь.

— Ты сам виноват, — сказал Эдвин. — Вот что бывает с чокнутым.

— Не испытывай, не огорчай меня, — сказал Боб, пока уютно сиявшие пабы улетали в спокойное и счастливое прошлое. — Не надейся заставить остановиться и еще разок врезать в рыло, чтоб ты начисто вырубился. О нет. — Проехали строительную площадку, где за вечерней работой кивали краны, стучали молоты. — Сбагрил тут пять котлов, — с гордостью сообщил Боб, — всего день назад. — И яростно обрушился на Эдвина: — Не надейся вот так вот меня заморочить, не выйдет. Мне известно, чего тебе надо. Ты мой телик разбил. Ты хлысты мои выкинул из долбаного окна. Деньги стырил. Только я это все возьму, будь спокоен, в том или в ином виде.

— Деньги были фальшивые, — заявил Эдвин.

— Ах, фальшивые? — саркастически переспросил Боб. — Видно, много ты в этом петришь. Ну, частично, если хочешь знать правду, фальшивые. Остальные настоящие. Всегда перемешано хорошее с плохим, а фальшивое с настоящим, прямо как в фактической жизни. Или в тебе самом. Ты ведь фальшивый, вот именно. Фальшивка, вот ты кто. Прямо как часть тех пятерок, которые стырил.

— Я хоть на глаза не косой, — сказал Эдвин.

— Шутить пробуешь, да? — бросил Боб. — Стараешься меня взбесить, да? Знаю, на что намекаешь, не бойся. Намекаешь на ту пташку в шлеме, которая будто бы «Правь, Британия». Ну, тот тип, что их делал, очень из-за этого переживал. Честно скажу, его лучшие времена позади, да когда-то никто рядом с ним и за милю не встал бы. Смехота, — ухмыльнулся Боб. — Знаешь правду про свои глаза? Они фальшивые, вот так вот. Точно так же, как волосы на голове. Фальшивые глаза, притворяются чокнутыми, только чокнутые не больше моей задницы. Обманщик, вот кто ты такой. Змея в траве. Не бойся, получишь все, что причитается.

— Что ты со мной сделаешь? — любопытствовал Эдвин. Он фактически индифферентно относился к перспективе боли, пострадав от

артериографии и воздуха в черепе. Но был заинтригован мыслью о мазохисте, изобретающем в качестве наказания нечто болезненное и таким образом, по солипсической логике, доставляющее наслаждение.

— Точно еще не решил, — сказал Боб. — Сообращу что-нибудь и поручу ребятам. Настоящие пытки какие-нибудь, так что до посинения будешь вопить.

— Значит, ребята на месте? — уточнил Эдвин. — Будет забавно.

Боб искоса на него глянул долгим хитрым взглядом, быстро ведя машину по-прежнему по закоулкам, где не было других машин.

— Вот тут ты, по-моему, врешь, — сказал он. — Ничего забавного ты тут не видишь. Не нравятся тебе подобные вещи. Притворщик, вот кто ты такой.

— А если, — предложил Эдвин, — если я по тебе хорошенько пройду хлыстами и прочим? Хорошо отхлещу по спине, пока кровью весь пол не зальется, а ты не взвоешь о пощаде? Мило было бы, правда? А для меня было бы настоящее наказание, учитывая, что я не чокнутый.

— Не надо, — сказал Боб, стиснув зубы и подняв плечи в ответ на воображаемое битье по спине. — Не искушай меня. Ты должен получить наказание. Это только справедливо, и честно, и правильно. Ты должен пострадать. А таких вещей даже не поминай, — предупредил он. — Это нечестно, когда я за рулем.

— Как думаешь, — спросил Эдвин, — можно парик надеть? Знаешь, я очень переживаю насчет лысой головы.

— И еще кое-чего переживешь, — посулил Боб, — пока ребята с тобой не покончат. Руки держи у меня на виду. Мне твоих шуточек больше не надо, вот так. — Он вел машину, глубоко дыша. — Джок привел одного облома, на другом чокнутого. Будет палить горящими спичками волосы у тебя на ногах. Это его возбуждает. Трудно понять, но так оно и есть. Он как-то притаился со мной повидаться, — рассказывал Боб теперь тоном дружеской беседы, — поглядеть, не поладим ли мы. Здорово возбуждается из-за этих горящих спичек. — Эдвин знал: это чистая фикция, Боб изо всех сил старается напугать его. — А мне, — признал Боб, — на самом деле хлысты больше нравятся. Ты, сволочь, — злобно продолжал он, — выкинул их на улицу. Замечательные хлысты, мою коллекцию, ценой в целое состояние, швырнул на улицу. Чистая злобная пакость, вот что это такое.

— Я так понимаю, ты их наверняка подобрал, — заключил Эдвин, — несколько по крайней мере. Иначе откуда бы знал, что я их на улицу выкинул?

— Ладно, умник, — сказал Боб. — Мы твою маленькую игру насквозь

видим. Крупный притворщик, вот кто ты такой; выдумал шайку Перрони и прочее. Тогда как шайка Перрони в этот сезон временно отдыхает; сам Перрони на юге Франции. Не вышел номер, да? Хотел свалить вину на бедного долбаного Перрони. Не думай, будто я хоть когда-нибудь заступлюсь за Перрони. Это настоящий ублюдок. Но для твоего образа мысли типично. — И мрачно задумался о порочности Эдвина. — Пришлось ходить, наезжать на всех ребятишек в округе, чтоб хлысты назад получить. И то пока еще не все. А один парень сам на меня наехал, представь. Говорит, врезал бы мне как следует моим же хлыстом. Я попал в очень странное положение, понимаешь.

Теперь Боб должен был повернуть на широкую магистраль с магазинами, с огнями, с людьми. Эдвин видел: он все больше нервничает, пальцы в перчатках дергаются на руле.

— Досада, раздолбай ее, вот что, — сказал Боб. — Светофоры, а ты просто вздумаешь выскочить из машины, пока свет меняется. Да только я их проскакивать буду. Нельзя тебе верить, — упрекнул он, — обманщик.

— Слушай, — сказал Эдвин, — нравится тебе или не нравится, я собираюсь надеть свой парик. — И вытащил парик с груди, оторвав по ходу дела пуговицу на рубашке.

— Ох, ладно, — плаксиво протянул Боб. — Надевай, если хочешь. С меня хватит, вот именно.

— Святители небесные, — почтительно молвил Эдвин, пристально вглядываясь через Боба в витрину магазина по правой стороне улице, еще держа парик в руках. — Какая изумительная витрина. Наверно, к Рождеству. Вот это хлысты. — Боб, не в силах устоять, повернул вправо голову, и Эдвин нахлобучил на него парик. Парик, оказавшись несколько великоватым, съехал Бобу на глаза. Боб от удивления и неожиданности чертыхнулся, оторвал от руля руки, чтоб сорвать с себя кудри, одновременно сильно нажав на педали обеими ногами. Машина остановилась, и абсолютно правильно, ибо вспыхнул желтый свет. Эдвин рванул ручку дверцы, вывалился на дорогу, через две секунды очутился на тротуаре, используя как щит толстую пешую пару (явно супружескую, все больше походившую друг на друга по мере ожирения). Исполнив в стиле Чарли Чаплина разнообразные рывки и оглядки, он потом увидел впереди общественный туалет, благодарно метнулся к нему. Слетел вниз по ступенькам в наполненный эхом склеп, обнаружил над писсуарами серьезных мужчин с занятыми руками, ряды *cabinets d'aisance*^[98] с щелями для пенни. Изданный им поспешный внезапный болезненный крик (черт возьми, ни единого пенни в кармане) пришелся вполне кстати в этом месте

общественного облегчения. Если Боб сейчас свалится вниз...

Эдвин видел, как мужчина в пиджачном костюме и в хомбурге^[99], с вечерней газетой под мышкой, вытащил из кармана мелочь, отыскал пенни. Как только он опустил в щель монету и повернул ручку, Эдвин метнулся, сказал:

— Объясню, — втолкнул мужчину в кабинку, шмыгнул следом, запер дверь на задвижку. В подобных местах не просторно. Эдвин с мужчиной стояли близко друг к другу, на манер любовников; мужчина с разинутым ртом.

— Прибой, вы меня поистине поражаете, — сказал мужчина, счистивший теперь с лица первый налет ошеломления и явно оказавшийся мистером Часпером. — Разве нельзя было дожидаться завтрашнего утра в офисе? Мужчина, хочу я сказать, имеет право на уединение в определенных местах.

— Меня преследуют, — пояснил Эдвин, — за мной гонится сумасшедший. — Прозвучало смешно, но что еще можно было сказать?

— Видно, мы с вами в одной лодке, — заметил Часпер.

— В какой там лодке. Меня похитили, — заявил Эдвин. — Я только что из машины удрал.

— Да, — сказал Часпер. — Ну, теперь будьте добры открыть дверь и выпустить меня. Я в общем спешу, понимаете ли.

— Делайте свои дела, — предложил Эдвин. — Я не смотрю. — И услышал грохот спускавшихся ног, крик вломившегося в запоздалой погоне Боба:

— Где ты, сволочь? Знаю, ты где-то тут. — Боб принялся колотить в двери кабинок по очереди.

— Говорите, — шепнул Эдвин Часперу. — Скажите ему что-нибудь.

— Шо такое? — Это, наверно, был голос служителя при уборной, привлеченного шумом, ничего хорошего заведению не сулившим. — Шо тут происходит? — Эдвин отметил слюнявую палатализацию фрикативных альвеолярных фонем.

— Мужик один, — пропыхтел Боб, — удрал. Знаю, он где-то тут, сволочь. — И заколотил в соседнюю рядом с Часпером с Эдвином дверь. — Ворюга долбанный, — добавил Боб.

— Тут не шо-нибудь, а решпектабельное жаведепие, — сказал служитель.

— Выходи, — позвал, колотя в двери, Боб. — Знаю, ты там.

— Ждите своей очереди, — прозвучал голос из-за соседней двери, добавляя басовый взрыв здорового испражнения. Боб забарабанил в

кабинет доктора Прибоя. Мистер Часпер отчетливо проговорил:

— Вы не лысого ищите, который спешил?

— Да, да, да...

— Он забежал и вышел. Убежал, я сам видел.

— Вот сволочь, — сказал Боб, а потом послышался его топот к выходу и вверх по лестнице.

— Очень дурно воспитан, — заключил Часпер. — Даже не поблагодарил. — Он сел в брюках на седалище унитаза и сурово посмотрел на Эдвина снизу вверх. — Хотя я не имею никакой юрисдикции над вашей личной жизнью, вы, разумеется, понимаете, что подобные вещи скорее свидетельствуют об упадочной тенденции. Вы и в Моламьяйне во время досуга бегали от преследования по общественным туалетам?

— Я вам очень признателен, — сказал Эдвин, — за то, что вы сделали. Боюсь, история очень долгая.

— Охотно верю, — сказал, сидя, Часпер. И задумчиво продолжал: — Блаженной памяти профессор Харкурт был арестован в общественной уборной, не где-нибудь, а в Ноттингеме. Фотографии людям показывал, верите ли? Ну, — сказал он, восседая, как будто на троне, коронованный хомбургом, держа газетный скипетр, — рад был немного с вами побеседовать. Вы, случайно, не знаете, что с моим котелком?

— Хорошо бы, чтоб он у меня сейчас был, — сказал Эдвин. — Тут ужасный сквозняк.

— Ну, забегайте еще как-нибудь, — предложил Часпер. — Жаль, что надо вот так вот спешить, но есть кое-какое весьма спешное дело. Рад был оказаться полезным.

Эдвин отстрелил задвижку, кивнул Часперу, осторожно шагнул в большой санитарный голый вестибюль, наполненный громкими звуками спущенной воды. Осторожно показался на улице. Никакого Боба. Никакой машины Боба. Но тоже льющаяся вода. Дождь. Первый английский дождь, увиденный им с момента отплытия в Бирму; домой в больницу он прибыл в сухой сезон. Дождь был сильный. Ощущение дождевых иголок на голом скальпе незнакомое, сверхъестественное. Эдвин поспешил к дверям магазина, красивого сияющего магазина, полного арифмометров. Двери уже были заняты влюбленной парой в шуршащих объятиях пластиковых дождевиков. Пластиковые любовники, подумал он. А потом подумал, что забыл попросить у Часпера боб-другой. На воду, на хлеб, хозяин, на пачку курева. Курева было еще полно, и он закурил. Все, что дал ему Часпер, — убежище ценой в пенни. Меднолобый, каменнолобый Эдвин шлепнул влюбленного по обнимавшей руке.

— Подайте боб на воду, на хлеб, хозяин, — проскулил он. Влюбленный нетерпеливо сунул бедному лысому Эдвину пару шестипенсовиков и монетку в три пенни. Потом,塑料ково шурша, вернулся к своим поцелуям.

Глава 28

Длинная узкая галерея, полная игровых автоматов. Эдвин стоял снаружи, без удовольствия глядя внутрь. Острые иглы дождя на черепе телеграфно сообщали, что он близок к концу. Ангелы дождя благовестили о его усталости, одиночестве, тоске по себе подобному, о тревоге за будущее, об ощущении, что он сам себя предал. Он хорошо справился без чьей-либо помощи, вот что. А доносившаяся из галереи сквозь треск ружейных выстрелов, щелканье шаров, полные надежды и разочарования крики громкая бойкая музыка источала чистую суть шутовской грусти.

— Заходи с дождя, папаша, — пригласил мужчина в белом; в белом, но не в клиническом белом, недостаточно белом для рентгеновской богини. Эдвин коснулся пальцами своих монет, дара влюбленного. Один шестипенсовик с потертой лысой головой Эдуарда Седьмого — серебряный цветик, вылетевший из жаркого пульмана, где подается омлет из сотни яиц; полные фляжки бренди в карманах широкого пальто; пара куропаток на вертеле; «Rosenkavalier»^[100], поджидающий в Ковент-Гардене. Теперь Эдвин вступил совсем в иной мир. Юнцы с отвисшими губами спускали пенни на странные азартные игры. Одна под названием «Водородная бомба» возвращала деньги обратно за уничтожение целого мира. Спусковой механизм посылал по длинным скоростным туннелям шар за шаром, которые ударяли в преграды, поочередно зажигая огни, обозначавшие Токио, Сингапур, Нью-Дели, Афины, Рим, Берлин, Лондон. Весь земной шар, кроме Нью-Йорка, содрогался, смолкал, и игрок получал назад пенни. Видел Эдвин также игру в пытки — стеклянный куб с куклой на дыбе внутри; спусти сильнее пусковой крючок, и сила отзовется самым что ни на есть реальным воплем. А самая азартная игра: сражение игрока с раком легких (диаграмма груди, бронхиальных путей, загоравшиеся огоньки отмечают зону поражения). А игра для двоих игроков воспроизводила в символах пророческого огня борьбу между красным Китаем и остальным миром. Эдвин, передернувшись, отвернулся к «Ротаминту». Скормил эдвардианский шестипенсовик, глядя, как скрипят колеса, зажигаются цифры, потом все замирает. Скормил другой, второелизоветинский, и через несколько секунд хлопотливого механического вращения послышалось звяканье рождавшегося джекпота. Это привлекло взоры от других автоматов, даже нескольких зрителей, следивших за серебряной жатвой Эдвина.

— Повезло, так его перетак, — сказал один юнец. Кто еще это мог быть? Разумеется, Нобби из котельной мафии, всего-навсего посаженный в тюрьму, не оштрафованный, ничего подобного. Эдвин насчитал шестипенсовиков на шесть шиллингов. Хорошо. Но хорошо ли на самом деле? Постель на веревках в ночлежке, ровно на рассвете отвязанных, ломоть хлеба с маргарином, потом что? Живи одним днем, как Христос. Но все эти непредусмотрительные нищенствующие секты рождались всегда в теплом климате, где можно жить одним днем. Эдвин вышел в сырую холодную ночь, учтиво поблагодарив человека, из сыновних чувств пригласившего его зайти. И пошел туда, откуда пришел, подняв воротник, сунув руки в карманы. Влюбленные все так же стояли в проходе, только их объятия дошли до столь мучительной интимности, что Эдвин не решился вернуть мужчине его холодную милостыню. Он свернул за угол у захороненных уборных, направился к колоссальному эдвардианскому отелю. Бар, объявляли огни, открыт для всех, не только для постояльцев. Здесь он в последний раз выпьет. Пусть потом окончательно станет пассивным, абсолютным неодушевленным предметом, заботой мировых сил. Его болиголов, чаша с ядом. Двойной виски. С оливкой или с хрустящими чипсами. Или с маринованными корнишонами.

Эдвин крутнулся в дверях-турникете, увидел красивых или благополучных мужчин, заказывавших ликеры для стройных леди на табуретах со спинками у стойки бара, для леди с волосами, общипанными в искусной стрижке, с элегантно вытянутыми ногами. Стойка бара длинная, залитая светом, как высокий алтарь; над ней сложный резной балдахин. Бармены, серьезные, редковолосые, говорили тихо, проворно выполняли свои священнические задачи, склонялись к платившим за выпивку с натурально почтительными улыбками. Эдвин, вдруг оробев, опустил воротник, попытался пригладить голову, и без того, видит бог, вполне гладкую, направился к сиянию «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». Тут уж никаких простых «М», никаких «Муж.», презренных апокоп. В прекрасном дворце из мрамора и стекла с алебастровыми ступенями к писсуарам Эдвин встретился с мировой силой — широкая спина мужчины в смокинге, в венке из виноградных листьев, повернулась с застегивающими пальцами, явив жирное лицо с сизыми подбородками, с характерным носом узкоголового, распахнувшего клюв орла.

— Боже мой, — сказал он. — Что они с тобой сделали? Кто это тебя держал, Расскажи-ка. Как ты изменился, Прибой.

Да-да, вот так вот. Возможно, движению жизни, столь часто означаящему неожиданные встречи, особо способствует характерная

атмосфера общественных уборных. Сколько встреч в уборных могут стать судьбоносными: подстерегающий в детстве развратник; мужчина с адресами и снимками; рассказчик анекдотов становится другом; двое незнакомцев ведут речь про супругу одного из них; встреча преследуемого флагеллантом из котельной мафии со своим собственным боссом; застегивающийся мужчина из прошлого, коронованный виноградными листьями.

— Джек Танатос, — сказал Эдвин. — Ну и ну. — И усмехнулся над тем, что сделал бы из такой встречи Жан Кокто.

— Аристотель Танатос, — поправил Аристотель Танатос. — Не знаю, откуда вы все вообще взяли Джека.

— Это, по-моему, для того, — предположил Эдвин, — чтобы оградить тебя от вульгарности и необразованности. «Аристотель» для британца всегда звучит с грязноватым оттенком.

— Да, да, а ты что подельывал после колледжа? Я, со своей стороны, погрузился в вино, как ты, может быть, слышал, а может, и нет. Поэтому я сейчас тут. Съезд виноделов. Конференция по продвижению греческих вин здесь, в Европе. Наверху сейчас пьют эти вина.

— Слова, — сказал Эдвин. — Слова, слова, слова.

Аристотель Танатос мигом разозлился.

— Нет, не слова, — заявил он. — Это истина. Поднимайся наверх, если ты мне не веришь. В любом случае иди наверх.

— Нет, нет, — пояснил Эдвин. — Я имел в виду свои занятия.

— Ладно, тогда не ходи. Ты не всегда отличался такими плохими манерами, — заметил Аристотель Танатос. — Подобное изменение личности как-то связано с лысиной? Скажу тебе, очень дурной вкус. Вообще, совсем неуместно. — В его произношении отсутствовал всякий намек на чужие моря. Он издавал аромат британского благополучия: костюм от Трампера, средство после бритья от Ярдли, умеренный табачный запах, никакого чеснока.

— Я хотел сказать, — терпеливо объяснял Эдвин, — что в своих занятиях все больше уходил в сферу слов, и с большим удовольствием пойду с тобой наверх испробовать вин.

— Почему ты сразу не сказал? — спросил Аристотель Танатос. — Впрочем, боюсь, сейчас не настоящая дегустация. Пьянство. Запомни, пожалуйста: дегустация вин — серьезное дело на полный рабочий день. — И направился вперед Эдвина из уборной, бросив полкроны на поднос служителю, повел его по широкому пролету пологой лестницы с водянисто-податливым ковром и сверкающими перилами. Эдвин слышал

винные шумы и песню. Аристотель Танатос толкнул створку тяжелых дверей, поманил жестом Эдвина к греющей сердце картине: золотое вино пили из кубков, а не из бокалов, само вино лилось из эллинских сосудов. В центре огромного эдвардианского зала стояло нечто вроде пресса, девушки, задрав юбки, давили гроздья изящными ногами, мужчины с крепкими носами стояли вокруг, смеялись и аплодировали. Пьянство, но священное пьянство пьянящего вина. Тучный мужчина, одетый Вакхом, шатался вокруг, подняв чашу, похлопывая по плечам, целуя девушек с прямыми носами, восклицая. Впрочем, как ни прискорбно, губы его, открываясь, обнажали массу недостающих зубов, — по залу кружил не кто иной, как Хиппо, Хиппо в каком-то древнем афинском костюме, с искусственной виноградной гроздью вместо чаши, нес рекламные щиты. Задний гласил: «НАПОЛНИ ЧАШУ САМОССКИМ ВИНОМ». Когда Хиппо повернул по кругу в сторону Эдвина с Аристотелем Танатосом, стало видно передний щит: «РАДИ СВОЕГО ЖЕЛУДКА ВЫПЕЙ НЕМНОГО ВИНА». Светская и религиозная функции Хиппо в конце концов слились. Он, без удивления узнав Эдвина, сказал:

— Всех волос твоих нету, — а потом добавил: — Прямо чертова работа. Нигде ни капли пивка. — И продолжил кружение. Аристотель Танатос подозвал голоногую девушку с очаровательным кипрским профилем. Она подошла, улыбаясь, с венком виноградных листьев для Эдвина.

— Ну, — сказал Аристотель Танатос, — вот, видишь названия, под которыми кое-какие вина выйдут на рынок. — На стоявшей доске были вывешены образцы этикеток: «Одиссей», «Агамемнон», «Ахилл», «Аякс».

— «Аякс» не пойдет, — сказал Эдвин. — Первый ватерклозет называли «Аяксом». Ну, давай же, давай я попробую молодого вина.

Вина были прозрачные, смолистые, дымные, вкусные.

— Но скажи мне, — сказал Аристотель Танатос, — как именно *хочешь* распорядиться своей жизнью? Похоже, в нынешнем положении не особенно преуспел? Например, лысый. Штаны дешевые, плохо сидят. Башмаки растрескались. Туалет, мало сказать, поверхностный. Наполни чашу самосским вином, пойдем сядем вон там, и ты все мне расскажешь. Женат? Женат. Денег достаточно зарабатываешь? Не отвечай. Вижу — нет. Счастлив ты со своими словами? Предположительно да, или столь преждевременно не дошел бы до этого лысого, мало сказать, неэлегантного состояния. Где живешь? Где работаешь? Дети есть? А машина? Не пытайся на все сразу ответить. — Подошла с подносом прелестная девушка из Золотого Века. — Попробуй, — сказал Аристотель Танатос. — Долма. —

Эдвин взял виноградный лист, куда было завернуто мясо с рисом, с запахом мяты, жадно съел, схватил другой, пока не унесли. — Да, — сказал Аристотель Танатос, — вижу, ты к тому же голодный.

Эдвин дал правдоподобное объяснение лысине. Аристотель Танатос кивнул, вздохнул с некоторым облегчением; лысина явно его беспокоила. Эдвин сообщил, что не слишком стремится вернуться к преподаванию в Моламьяйне лингвистики. Он не стал объяснять почему: скандальная жизнь на протяжении трех последних дней, грубое слово, выплюнутое в лицо ни в чем не повинным телезрителям, преследование, завершившееся в клозете с Часпером. Он предчувствовал, что Аристотель Танатос собирается предложить ему работу.

— Понимаешь, — сказал Аристотель Танатос, — нам нужен кто-то, способный возглавить нечто вроде службы по связям с общественностью. Лингвист, много ездивший, культурный в широком общем смысле слова, который общается с лучшими людьми, обаятельный, идеально ухоженный. — Он мрачно оглядел Эдвина. — Какая жалость.

— Слушай, — сказал Эдвин, — я не всегда такой. Ты бы посмотрел на меня, когда я причепурюсь как следует. — Он задохнулся от ужаса при этом слове, как и Аристотель Танатос. Общается с лучшими людьми? Эдвин улыбкой отмел произнесенное слово — шутка, сознательно избранный солецизм, не чуждый и лучшим людям. — Я классно смотрюсь, — безнадежно добавил он, — с полной башкой кудрей. — Потом громко расхохотался и стукнул по крепкому колену Аристотеля Танатоса в сшитой на заказ штанине. Аристотель Танатос угрюмо сказал:

— Вижу, вижу, ясно, шутка. Ну, думаю, можешь как-нибудь зайти повидаться со мной, когда будешь чуточку лучше себя чувствовать. В данный момент ты явно не в себе. Бедняга, я тебя не виню. Не считаю, что ты в самом деле так уж кардинально переменялся. — И приблизил к Эдвину яркие черные глаза, как бы проводя офтальмологическое обследование. — Не знаю, не знаю, — молвил он. — В колледже ты был совсем другим, правда? Помню, у тебя было, как минимум, четыре очень хороших костюма. А теперь пошли игры с твоими мозгами, да? Мало сказать, очень жалко.

— У меня еще есть красивые костюмы, — сказал Эдвин. — Шесть штук. Только все в Моламьяйне.

— В Моламьяйне, — сказал Аристотель Танатос. — Довольно поганый город, насколько я помню. Впрочем, это было во время войны. Знаешь, я был в КВВС^[101]. Ну а теперь, Прибой, выпей еще или делай, что хочешь. Я сейчас просто должен пойти не позволить мистеру Талассе

упасть в винный пресс. Очень милый мужчина, Прибой, только склонен к веселью. — И, потрепав Эдвина, точно старого мокрого пса, он направился прочь. Мистер Таласса совершал движения плывущего в море, с его козлиной бороды стекало вино. Эдвин, сглотнув, окликнул:

— Джек.

— Не называй меня Джеком.

— Хорошо. Аристотель, пузырь со стаканом, Танатос^[102], Смерть, как тебе будет угодно. Одолжи мне монету, а? Два хруста. Пару никеров. — Нужное слово от него ускользало. — На ночлежку.

— Дорогой друг. — Аристотель Танатос сделал шаг назад, оставив Мистера Талассу тонуть. — Неужели ты хочешь сказать, что дела твои настолько плохи? Мне страшно жаль. Знаю, я виноват, что поставил тебя в неприятное положение *просителя*. Надо было позволить тебе закончить рассказ. Но я просто понятия не имел. Знаешь, я нетерпеливый, всегда был такой. Друзья говорят, величайшая моя беда. Сядь. И я тоже сяду. — И они уселись.

— Ох, — сказал Эдвин, — не будем делать из этого большую проблему. Я хочу сказать, у меня деньги есть, верней, где-то у моей жены. Там, где она сама. Вопрос только в ночевке. Только на сегодня, и все.

— *Женщина*, — произнес Аристотель Танатос с горечью, вряд ли доступной самому Гарри Стоуну. — Ясно, ясно. Улетучилась, да? Вот так вот. М-м. В старые времена, как правило, мужчина оставлял женщину на мели. Впрочем, мы прогрессируем. Ну, лучше тебе провести ночь у меня. В моем номере две кровати. А потом завтра утром сможем поговорить, что-нибудь сообразим. М-м. Мне действительно страшно жаль. — Он оглядел подвыпивший зал, усыпанный виноградными листьями, залитый вином. Впервые за весь вечер лицо его добродушно скривилось. — Сейчас, — сказал он, — не время для серьезных бесед. Только на самом деле, по-моему, пить тебе тоже больше не надо. Ты совсем нехорошо выглядишь. От напряжения, наверно.

— Была довольно напряженная ситуация, — признал Эдвин. Привычным усталым жестом провел по закрытому глазу безымянным пальцем левой руки. Чувствовал себя осовевшим, должно быть от вина.

— Пойди ляг, — сказал Аристотель Танатос. — Мой номер на втором этаже. Прими ванну, побрейся моей электрической бритвой. Потом ложись в постель. Завтра утром придется встать рано, если мы собираемся обсуждать положение дел, так как к десяти тридцати я должен быть в лондонском аэропорту. Значит, сейчас иди и ложись. Я, понятно, пока не могу покинуть компанию. Мой номер двенадцатый. Дверь не заперта.

Отправляйся сейчас же, поспи хорошенько. Бедный Прибой, — сентиментально изрек он, стиснув руку Эдвина. — В колледже никому даже в голову не пришло бы так тебя назвать, — добавил он. Эдвин искал какие-нибудь новогреческие слова, но ничего не вспоминалось.

— Апотанейн тело^[103], — сказал он взамен, сам того не желая. Аристотель Танатос посмеялся.

— Иди спать. Утром будешь иначе себя чувствовать.

Выходя из зала, где шло здоровое пьянство, Эдвин чуть пошатнулся. Вино. Встретил Хиппо, поднимавшегося из туалета, застегиваясь под передним щитом.

— Чертовы игры, — сказал Хиппо. — Нашел свои часы?

Идя по снежно-мягкому коридору, Эдвин видел плясавшие на дверях номера. Но, без пляски в глазах, без каких-либо фантастических полутонов, вполне определенно прошел мимо двух плоскогрудых дочек Ренаты, хихикавших под эскимосскими прическами с бубенцами, державшихся за руки, шедших по вызову в какой-то номер. Всегда вместе работают, да? Щурясь на номера, он увидел двенадцатый, открыл дверь и выяснил, что попал не туда, совсем не туда, но двое обитателей были слишком заняты, не заметив, что он ошибся дверью. Губы Эдвина открылись, кончик языка поднялся к альвеолам, готовый произнести:

— Простите, — но взгляд его застыл, зачарованный, словно кролик удавом, зрелищем акта. Собственно акта. Поезд, дополненный звуковыми эффектами, как раз готовился прибыть на станцию.

— Шейла, — сказал Эдвин, передвинув кончик языка с альвеол к твердому небу, каким-то отделом ошеломленного мозга фиксируя этот факт. Это была точно Шейла, определенно Шейла, ибо, даже в пути, голова ее повернулась.

— Обожди, — пропыхтел мужчина, мужчина, которого Эдвин никогда раньше не видел, безбородый мужчина, — дай кончить, пропади ты пропадом.

— Да сколько угодно, — холодно сказал Эдвин, холодно сознавая, что вот-вот отключится, — первоцвет, топинамбур, тротуар, мансарда, — а потом намертво отключился.

Глава 29

— Сейсяс, — сказал Гарри Стоун, бесштаный ведущий, — сей распроклятый сяс присутствующий тут перфессер продолзит свое первое сенсасионное выступление по телику осередной демон-ей-в-дысло-стразией треклятых слов. В прослый раз — весь мир помнит, идут телеграммы с Китая, с Перу, и со всяких других загранисных проклятых местесек, распроклятые телеграммы узе просто некуда класть, — он сказал одно слово, которое больсе нельзя повторить, но теперь полусивсее официасльное определение в касестве, — он заглянул в отпечатанную шпаргалку, — эксплетивного отглагольного суссествительного, в проклятой фонетисеской структуре которого оглусенная клятая лабиодентальная переходит таки во вторисьную главную гласную номер сесть, закансиваясь оглусенным велярным взрывным, будь я проклят. Сейсяс он все это продемонстрирует в действии на омофоне^[104]. — Его редкостное придыхание бурей неслось по всему свету. — Просу, перфессер.

Лысая голова Эдвина в единственном числе заполонила экран монитора, исчерченная диаграммой первичной главной гласной. Он поднял трепещущие веки, а потом из носа у него обильно хлынула кровь.

— Перед всеми извиняюсь, — извинился он. — Не совсем здоров на колган, — подмигнул он. — Сегодня у нас в студии несколько омофонов. Вот, например. — Он повертел в руках плод, молвил волшебное слово, проводил его взглядом, падежный, бревенчатый, уплывающий без плотовщиков в ночь. — Или вот, — сказал он. — Наша подружка испанская. — Обхватил крепкий корпус Кармен, задрав юбку.

— Вот сучок, — сказала она. — Ох, блин. — Зубы ее две минуты шамкали на экране.

— В этом корпусе, — объявил Эдвин, — лестница. Теперь смотрите. — И Чарли полез по лестнице в Валгаллу с веревочными спагетти через плечо, Чарли жаловался:

— Жутко неудобно. Итальянская пакость.

— А вот, — продолжал Эдвин, — мое собственное маленькое изобретение, тикающие котлы, гарантированно кипятят любое количество времени, останавливаются только через три недели. Всего никер. Если считать на сороки, то восемь. Идут в комплекте со звонком на малине; удобно для пикников. — Из электрического счетчика посыпались, крутятся, деньги, — джекпот. Эдвин схватил пригоршню шиллингов, каждый из них

умолял:

— Щелкни меня. Долбани посильней. Если ты меня не положишь как следует, позову мафиози, пускай вздуют твою черепушку.

— Чудеса филологии, — с гордостью заключил Эдвин. — Возьмем вот этого пса, например. — И взял сопротивлявшегося Ниггера с рыбьей головой вместо носа. — Понимаете, это на самом деле Чурка. Собаке собачья кличка. Назови чурку чуркой. Из наилучших побуждений. — И поставил послушного Ниггера с сухим металлическим звяканьем. — Когда чурка будет болванкой, на нее лайку натянут. Собаку тянет к дереву. Все сходится. — И взглянул на небо-потолок, где Лес расхаживал по колосникам.

— Вянет мировое древо, — пел Лес. — Безмозглые безбожные боги. Верхний свет божий, видишь? Для летучего голландца.

— Теперь, — сказал Эдвин, — переходим от омофонов к вопросу о любви в целом, к любви, как к самому зубодробительному сочетанию фонем, когда-либо произнесенному промышленной белкой. — Возникла Корал без юбки.

— Классная из нас с ней пароська, будь я проклят, — заметил Гарри Стоун без штанов.

— Трехнутый на своей как-то-фонии, — кораллово улыбнулась Корал. — Любовь, да? Зубодробительная как-ты-ее-там-назвал? Зубодробительная — хорошо.

— Моя жена Шейла демонстрирует сейчас любовь, — сказал Эдвин, — вместе с семьей священными трансами. Не пытайтесь прибавить в своих ящиках яркость, ибо почти все это темное дело должно совершаться во тьме. Покажем. Продemonстрируем. Понимаете, два эти слова имеют одно и то же значение, но разное происхождение, англосаксонское и французское соответственно, что свидетельствует о несравненном богатстве английского. По мере продолжения демонстрации, на которую, может быть, скучно долго смотреть, постараюсь развлечь вас бесценными филологическими курьезами. Как правило, они продаются исключительно в общественных уборных. По особому разрешению Часпера я нынче вечером их представляю огромной зрительской аудитории. — Энергичные звуки любви нарастали крещендо. — Слово «крещендо», заимствованное в Италии, в родстве с восходом лунного полумесяца. Фоновые звуки, производимые моей женой и различными неизвестными мне персонами, вряд ли можно признать подходящими для лингвистического анализа. Где-то должен же быть предел.

Следует, — сказал Эдвин, — прояснить другой пункт, пока мое время

не истекло. Время, кстати, любезно предоставлено котельной мафией. Едва ли справедливо абсолютно неподвижно привязывать меня к кровати, как Одиссей вместе с прочими в доску пьяными греками были привязаны к мачте, чтобы послушать безвредную неременную песню сирен. Ладно, ладно, слышу чьи-то крики: мистер, наденьте волосы. Только не мистер, пожалуйста. Доктор, если не возражаете. Вот мой диплом. — И бессильно вытащил клочок туалетной бумаги, измазанный губной помадой: «ВРУН». — Что касается волос, честно, я ничего лучшего и не желал бы. — Улыбаясь в камеру на потолке, поднес к своей голове паралично трясущийся палец. К его глубокому изумлению, волосы уже пробивались проволочной негритянской шерстью. В высокой шляпе, в безукоризненном фраке, вертя трость с серебряным набалдашником, на сцене танцевал Лео Стоун. Свой семитский нос он удлинил красивым воском телесного цвета.

— Теперь все вместе, — крикнул Лео:

Он все равно, он все равно
Достанет их назло.
Колос зреет в тишине,
Голос слышен в вышине,
Волос встал на голове,
Ох...

— Дутые омофоны, — негодуя заявил Эдвин. — Голос и волос.

Аристотель Танатос склонился над ним с орлиным черепом вместо головы. Заговорил на новогреческом с легким турецким акцентом. Благодаря любезности рентгеновского отделения его голый череп медленно одевался плотью.

— Давай, — поддержал Эдвин. — Еще немного. — Плоть, однако, остановилась на стадии разумной плотности. Эдвин заморгал. Все образы расплылись, кроме мужчины в халате, который не был Аристотелем Танатосом, хотя слюняво бормотал по-гречески над постелью Эдвина, словно на его речевых центрах отражался нейронный дефект. Эдвин проморгался, вызывал к существованию прочную белую палату, только не ту, откуда сбежал. Здесь он никого не знал. Где Р. Дикки, где насмешник, где юноша, горбатый, как Панч? Может быть, это другая больница. Если подумать, едва ли его привезли в ту же самую после столь непростительного, на их взгляд, поведения. Человек, говоривший по-гречески, наклоняясь над койкой Эдвина, казался безумным и радостным.

Общительный, даже будучи моноглотом, он посеменил к соседней койке. На всех койках вдоль палаты по обеим ее сторонам лежали мужчины, кое-кто в темных очках, почти все с забинтованными головами, один — трясущийся от болезни Паркинсона. Эдвин нежно ощупал собственную голову. Там что-то росло: неподвижные кольца марли над хлопково-шерстяной клумбой. Наверно, отключившись, он сильно поранился. А потом вошел веселый доктор Рейлтон, вытирая губы, игравшие на трубе.

— Как, — испуганно спросил Эдвин, — вы сюда попали?

— Я здесь работаю, — отвечал доктор Рейлтон. — Как вы себя теперь чувствуете, доктор?

— Знаю, — сокрушенно признал Эдвин. — Действительно, вы были правы. Я слишком безответственный для столь высокого титула. Но не могу же я сам себя его лишить, правда? Не могу лишить себя того, что мне было присвоено. Правда?

— Не надо так волноваться, — сказал доктор Рейлтон. — И не чувствуйте себя виноватым. Чувство вины сильно препятствует выздоровлению.

— Значит, вы рассматриваете вину с клинической, а не с нравственной точки зрения? — уточнил Эдвин. — Но если бы вы давали мне нравственную оценку, что сказали бы?

— Это к делу не относится, — сказал доктор Рейлтон. — Не входит в наш с вами контракт. Теперь отдыхайте. Не думайте больше.

— В любом случае, простите меня, — сказал Эдвин.

— Если от извинений вы себя лучше чувствуете, — сказал доктор Рейлтон, — пожалуйста, извиняйтесь. — Он встал с края койки. — Навещу вас попозже.

— Вы с радостью играли на трубе вчера вечером?

— Я всегда с радостью играю на трубе, — сказал доктор Рейлтон. — Возможно, труба для меня то же самое, что для вас изучение слов. Только, — сказал доктор Рейлтон, — у меня еще и профессия есть. — Он вполне дружелюбно улыбнулся, а потом ушел из палаты.

Глава 30

Измерить температуру, сосчитать пульс пришла сестра с крепким ирландским телом, выкормленным картошкой, со сливово-яблочными щеками. Когда термометр на минуту шмыгнул в теплое гнездо, Эдвин попробовал задать пару робких вопросов.

— Где я? — спросил он. Сестра была крестьянской породы, на дух не выносила никакой саксонской чепухи, поэтому сказала:

— Не задавайте глупых вопросов. Вы в послеоперационной палате.

— Вы хотите сказать, меня прооперировали? Уже?

— Не спрашивайте, и не услышите лжи. Видите, я считаю ваш пульс.

— Какой сегодня день? — спросил Эдвин. Она записала пульс в карту, вытащила термометр, сняла показания.

— Для усердного труженика все дни одинаковые, — сказала она. И добавила нолик в температурный график. — Кроме воскресенья, но и тогда работа продолжается, — сказала она, дочка бедного фермера.

— Вчера вечером по телевизору ничего необычного не было? — спросил Эдвин.

— Откуда мне знать? Сплошная ерунда, можно точно сказать. У меня есть дела поважней, чем смотреть по телевизору сплошную ерунду.

— Не сомневаюсь, — сказал галантный Эдвин. — У такой милой девчушки.

— Не хамите, — сказала она и направилась к следующему пациенту. Но, стоя там за работой, бойко оглянулась на Эдвина.

До обеда с визитом явился священник англиканской церкви.

— Хочу спросить, не соизволите ли вы ответить на простой вопрос, — сказал Эдвин. — Какой сегодня день?

— День? День? — Это был рассеянный серебристый старик. — Ну да. — Полез во внутренний карман, вытащил ежедневник с примечательно немногочисленными, на взгляд Эдвина, записями. — Вряд ли это сильно поможет. С помощью этой книжечки по числу можно точно определить день недели. Полагаю, — сказал он, — среда или четверг. Не уверен. Но вполне уверен, — улыбнулся он, — что день нынче будний.

— Спасибо, — поблагодарил Эдвин. — А который час?

— Ну, — сказал священник, — к сожалению, свои часы я всегда забываю дома. Но, э-э, вижу, как я понимаю, ваши, вон там, на тумбочке возле кровати. А на них, э-э, почти шесть.

— Мои часы? — не поверил Эдвин. — Господи помилуй, как они там очутились? — Священник близко поднес часы к глазам Эдвина. Они тикали изо всех сил, точно высокомерный кот, который невозмутимо мурлычет, вернувшись домой после долгого отсутствия, равнодушный к пережитому хозяевами переполоху. Часы точно были его.

— Очутились? — эхом отозвался священник. — Ну наверно, неразумно, даже кощунственно постулировать в качестве объяснения сотворение чуда. Логичнее предположить, что вы туда сами их положили. Или вместо вас это сделал кто-то другой, не причастный божественной природе.

— Что такое «Прибой»? — спросил Эдвин.

— Прибой? Боже, сколько вопросов. Я бы сказал, это пенные волны, идущие с моря. По-моему, у Киплинга есть стихи, где прекрасно употребляется это слово. — Та-та-та-та-та-там, брызги пены с моря веют, та-та-та-та-та-там, и глупыш свободно реет. Стихи, — объяснил священник, — как вы, наверно, догадываетесь, про море. — И старчески причмокнул.

— Но еще стиральный порошок, стиральная машина или еще что-нибудь вроде того?

— Я отдаю стирать в прачечную, — довольно сухо сказал священник. — Можно полюбопытствовать, почему вы спрашиваете?

— Да просто так, — сказал Эдвин, — правда.

— Ну, рад был немного с вами побеседовать, — сказал священник. Эдвин пристально посмотрел на него, проверяя, не сидит ли он на унитазе. — Если, конечно, у вас ко мне нету других вопросов, — добродушно оговорился священник. — Простите, — добавил он, — я, разумеется, не имею в виду, будто был бы рад меньше, если б такие вопросы имелись. Мы порой пользуемся бессмысленными формулировками. Слова — ненадежная вещь.

— Как вы думаете, — медленно проговорил Эдвин, — мужчина всегда прав, оставляя жену?

— Нет, — мгновенно ответил священник. — Нас учат прощать до седмижды семидесяти раз^[105]. Этим все сказано. — И с трудом ревматически встал со стула у койки. — Знаете, если хотите молебен, — смущенно сказал он, — или что-нибудь в этом роде, я с большим удовольствием... то есть буду рад...

— Вы очень любезны, — сказал Эдвин.

— По-моему, вы слегка надо мной подшутили, — с христианским всепрощением заметил священник. — Я теперь вижу на температурном

графике, на самом деле Прибой — ваша собственная фамилия. Ах, ясно. Фактически, нечто вроде загадки. Ну, до свидания. Прибой, прибой, — добродушно бормотал он про себя, удаляясь.

Эдвин смог съесть небольшой обед (картофельная запеканка с мясом, к ней добавочная картошка — пюре, соте, одна печеная картофелина). И задумался, что скажет Шейле, если она, конечно, придет. Естественно, можно простить ее, но она посчитает прощение совсем неуместным, равно как и дерзким, ибо будет уверена, что прощать нечего. Возможно, фактически, это ему надо просить у нее прощения, поскольку жены, как правило, не блудят, не изменяют направо-налево, если счастливы дома. Все это уходит далеко назад, и, вероятно, в конце концов, он во всем виноват. Его нынешние намерения уже подпорчены потенциальным бременем вины. Но подобное соображение уничтожается той виной, которую она должна была — и никогда не чувствовала за собой, причиняя ему своими прегрешениями боль (а она ему причинила ужасную боль, пускай не говорит, будто он не имел права чувствовать боль). Он намерен оставить ее потому, что, оставив его в тот момент, когда была нужна ему больше всего, она совершила измену собственному пресловутому принципу: важно быть вместе, остальное никакого значения не имеет. Разумеется, разрыв с ней будет просто означать приказ убираться из его жизни. В Англии они были бездомными, их немногочисленное недвижимое имущество находилось в Моламьайне. Эдвин был вполне уверен, что не собирается возвращаться в Моламьайн, вполне уверен после всего происшедшего. Когда Шейла будет выброшена из будущего, придется перепланировать будущее.

Но, гадал он, действительно ли происходили все те фантастические события? Должны были произойти; они еще хранили в памяти сильный отзвук реальности. Звон аккорда КЛЕТЬ в клубе; блик света сценической рампы на отполированной трубе Рейлтона; невыдавленный угорь на верхней губе Гарри Стоуна. И прежде всего, жуткая, деловая, хрипящая нагота, подъезжающий к станции поезд, высокий, сводящий с ума, угасающий голос Шейлы. *Это* вполне определенно происходило. А если это было, то и прочее тоже. Однако как можно подтвердить или опровергнуть что-либо? Люди так слабо держатся за реальность, помня лишь то, что им хочется помнить. Даже самые продвинутые — Рейлтон, Часпер, Аристотель Танатос — сознательно будут умалчивать, не желая усугублять унижение упоминанием об унижительном факте.

Аристотель Танатос. Эдвин вдруг вспотел и испуганно задышал. Действительно ли он когда-нибудь знал человека с таким именем и фамилией? Он копался и шарил в памяти в поисках Аристотеля Танатоса.

Можно выдумать имя подобного типа, вроде мистера Евгенида, купца из Смирны. Носит ли хоть какой-нибудь грек фамилию Танатос? Он старался придать четкость фрагментам университетской жизни, припомнить конкретные сцены, случайные встречи. Ценой расколовшейся головы вроде бы удалось увидеть на картинке самого себя с тремя-четырьмя другими молодыми людьми в пивной через дорогу от Мужского Союза, серьезно что-то обсуждавшими. Возможно, эстетику или падение Франции, грядущий призыв в армию или точное определение специального термина, природу барокко или еще что-нибудь. Он вроде бы видел на самом краю пухлого смуглого человека, более зрелого, чем его компаньоны. Эдвин вгляделся получше и выяснил: это студент-египтянин, изучающий технологию, по имени Хамид. Аристотель Танатос. Не встречался ли он с кем-то таким в Америке, обучаясь в аспирантуре? В Америке можно услышать подобное имя. Он увидел мужчину, говорившего на новогреческом, который шаркал по палате в халате и в шлепанцах, пускал слюни, притворялся доктором, неуклюже кивая над температурными графиками. И окликнул его:

— Эй!

Мужчина быстро подошел, неловко натыкаясь на кресла-каталки, вцепился в спинку кровати.

— Имя, — сказал Эдвин. — Как вас зовут? — Вспомнились крохи греческого из прошлого. — Кирие. Онома^[106].

— Джонни, — с готовностью брызнул мужчина слюной. — Джонни Дикикоропулос. С Кипра. Ни черта нет хорошего в турках.

— Бывает такое онома: Танатос? — спросил Эдвин. Киприот мигом заплакал.

— Черт возьми, — сердито сказал Эдвин. — Я говорю совсем не про смерть, не говорю, будто вы умираете. Бывает такое имя: Танатос? Есть у вас какие-нибудь знакомые греки с такой фамилией? Мистер Танатос. *Мистер Танатос*. Очнись, чтоб тебя разразило. — Но киприот продолжал бормотать. Раздались крики, стыдно обижать несчастного хмыря только за то, что бедняга — чертов иностранец, нельзя этого допускать.

— Вы, — сказала дежурная по палате сестра, — получите успокоительное. Мы не разрешим одному пациенту взбудоражить всю палату. Вы чересчур живой, вот что.

— Но, — сказал Эдвин, — ко мне должны прийти. Жена.

— К вам никаких посетителей. Вы еще не готовы к визитам, пока так ведете себя. Я вас сейчас ширмами загорожу. — Это была свирепая тощая женщина в очках в старомодной оправе.

— Но я должен увидеть жену, — твердил Эдвин.

— Вы увидите свою жену в надлежащее время. Только не сегодня. — И подкатила скрипевшие ширмы, отгородив Эдвина от живого больного мира. — Хватит времени повидаться с женой, когда поправитесь.

Глава 31

— Ну, — сказала Шейла, — кажется, ты теперь в полном порядке. Знаешь, все о тебе беспокоились. — Они сидела, темная красotka, в широкой черной юбке, в меловом свитере, меховая шубка на плечах. Было это следующим вечером. Эдвин чувствовал себя отдохнувшим; казалось, все будет хорошо. И разнообразные целебные силы слились в настроение всепрощения. Он простил себя. Простил несколько прошлых дней и все более дальнее прошлое. Простил Шейлу, но это оставалось секретом, известием, перешедшим от него к нему.

— Почему все беспокоились? — спросил он, беря Шейлу за руку. Рука была холодная, но и осенний вечер холодный, стучал в окно, выкрикивая свою боль.

— Да, наверно, ты мало что помнишь, правда? — сказала Шейла. — И наверно, на самом деле не особенно стоит рассказывать.

— Ты имеешь в виду то, что было после моего падения?

— А, помнишь, как упал? Решили отложить операцию. А потом, говорят, у тебя был какой-то послеоперационный шок. Ты явно был в коме. Я несколько раз пыталась с тобой повидаться, но меня не пустили.

— Как Найджел?

— Найджел? Этот идиот? Полный нуль, полней не бывает. Но почему ты спрашиваешь? Почему ты не спросишь, как я?

— Полагаю, отлично. Выглядишь замечательно. Никогда лучше не выглядела.

— Никогда так не мерзла. — Она чуть поежилась, теплее закутала в шубу плечи, выдернув при этом руку из легкого пожатия Эдвина. А назад руку не протянула.

— А как, — робко спросил он, — другой мужчина? Преемник Найджела?

— Тебя, видно, очень уж интересуют мои приятели, — заметила Шейла. — Что касается преемника Найджела, увы, не знаю. Верней, знаю. Преемник Найджела страдает тяжелым приступом небытия.

— Ох, брось, — сказал Эдвин, внезапно устав, ворочая забинтованной головой на подушке. — Это на тебя не похоже. О преемнике Найджела мне все известно, не так ли? Хотя как можно скорее хотелось бы позабыть.

— Зачем про него тогда спрашивать? Слушай, Эдвин, не надо бы мне говорить, но если ты думаешь, будто я провожу время в Лондоне, взапой

занимаясь любовью, то очень ошибаешься. Пару дней общалась с Найджелом, думала, будет забавно. Потом оказалось, ничего забавного. Кажется, у него также сильное отвращение к хлорофиллу. Тухлый тип. В обоих смыслах.

— Ты забрала у него мои вещи из стирки?

— Нет, но это значения не имеет.

Эдвин пристально посмотрел на нее. Никакого преемника Найджела? Раньше она никогда не лгала. И сказал:

— У меня мысли слегка путаются. Мне не хочется говорить, что ты лжешь, но я думаю именно так. Беда в том, что я в данный момент меньше любого на свете могу утверждать, будто происходило то-то и то-то. Не знаю. Но у меня сильное ощущение, что со мной происходили определенные вещи, которых вообще вполне могло не быть.

— Ох, — сказала Шейла, — наркоз, кома. Ты был очень болен. — И тоже пристально на него посмотрела. — Ты меньше всех на свете, как сам верно признал, можешь утверждать, будто кто-то лжет. Знаю, сейчас ты на самом деле не отвечаешь за свои слова. А ложь — грязное слово.

— Я хочу сказать, — сказал Эдвин, — меньше всего на свете мне хочется, чтобы именно ты присоединилась к избранной компании, умалчивающей о моем поведении в те три дня, если тех дней было три. Знаю, я был болен, но все равно хочу отделить от фантазии факты, если была какая-то фантазия. Если, — добавил он, — были какие-то факты. — Казалось, Шейла озадачена. — Вопрос онтологии, — пояснил Эдвин. — Нельзя идти по свету с искаженным понятием о реальности.

— Ох, есть вещи похуже, — сказала она. — В любом случае, ты теперь вылечился. Мне сказали, операция прошла успешно. — Сказала это ровно, без радости, без облегчения.

— Скажи правду, — потребовал Эдвин. — Ради бога, расскажи мне, что было.

— Могу повторить только то, что слышала. Ты отключился, поранился. Решили отложить операцию.

— В какой день это было?

— Ох, откуда мне знать, в какой день? Все дни одинаковые, кроме воскресенья, а воскресенье умудряется стать скучней будней.

— Значит, — сказал Эдвин, — я не видел тебя в постели с другим мужчиной?

— Нет, — сказала Шейла, — определенно не видел. Я никогда не поставлю себя в столь дурацкое положение, особенно после скандала, закаченного тобой в Моламьяине. Причем на самом деле мы с Джеффом в

том случае ничего такого не делали. Тогда я и поняла, что у тебя мозги не в порядке.

— А как насчет близнецов Стоун, котельной мафии, конкурса на лучшую лысую голову Большого Лондона?

— Близнецы Стоун существуют более чем определенно. Конкурс кажется довольно симпатичной идеей. Но что за котельная мафия? Чем она занимается, — чинит котлы?

— Дерьмовые часы толкает, — объяснил Эдвин. — Кстати, я кое-что вспомнил. Как мои собственные часы, или, по твоим словам, часы Джеффа Фэрлава, вдруг умудрились вернуться обратно? Могу поклясться, тот самый Хиппо их украл.

— Точно, — подтвердила Шейла. — Кажется, он их продал мужчине по имени Боб как-его-там, с которым я встретила в жутком клубе близнецов Стоун. Увидела их у него на руке, получила обратно и принесла сюда, пока ты бродяжничал в воображаемых мирах.

— Как ты их получила обратно?

— Забрала.

— А тот самый Боб спрашивал, не чокнутая ли ты?

— Фактически, да. Откуда ты знаешь?

— Вот что я имел в виду, — с силой сказал Эдвин. — Понимаешь, одна вещь *должна* была быть. Я имею в виду мой захват этим Бобом, который меня заставлял хлестать его кнутом. Не мог я такого вообразить, просто не мог, и все.

— Видно, ты много всякого навоображал, — заметила Шейла. — Когда я приходила с часами, то Чарли с собой приводила, — помнишь, мойщика окон. Вполне возможно, ты что-то все-таки регистрировал, хоть был в мертвой отключке. Я Чарли рассказывала историю про часы.

Неправдоподобно, неправдоподобно. Почему она врет? Почему не поможет добраться до истины? Что пытается скрыть?

— Ну, — сказала Шейла, — если уж тебе так приспичило соприкоснуться с реальностью, лучше я расскажу про свою встречу с Часпером.

— Он, наверно, действительно знает, что я шляпу у него украл, — сказал Эдвин. — Упоминал об этом?

— У него было о чем поговорить, кроме шляп, — сказала Шейла. — В целом стоял вопрос о твоём возвращении в Моламьяйн.

— Непонятно, — не понял Эдвин. — Почему он об этом с тобой говорил? Черт возьми, он мой босс, а не твой. Как вообще ты с ним встретила?

— А он мне написал, — просто объяснила Шейла. — На отель «Фарнуорт». Помнишь, все должны были знать, где я остановилась. Ближайшая родственница.

— Но ведь тебя выгнали из «Фарнуорта», — заметил Эдвин.

— Меня, — заявила Шейла, — никогда в жизни ниоткуда не выгоняли. За исключением одного раза в церкви в Италии. Потому что я была без шляпы. Правда, я больше не живу в «Фарнуорте», но мы расстались вполне дружелюбно. Время от времени забегаю за письмами. Боже, кажется, в твоей фантазии я играла довольно жуткую роль. — Она прикурила, чуть не сунула сигарету в губы Эдвину, а потом передумала. Стала курить сама, предложив ему другую, скорее, как знакомому, не как возлюбленному; чиркнула для него спичкой.

— Ну, дальше, — нетерпеливо подогнал ее Эдвин. — Что Часпер сказал?

— Он пришлет тебе официальное письмо, по еще не сейчас. Попросил деликатно тебе сообщить, в Бирму ты не вернешься, контракт твой расторгнут по статье 18. О чем я деликатно тебе сообщаю.

— Весьма деликатно, — буркнул Эдвин, — деликатно, как хлыст по спине котельного мафиози. Впрочем, я этого ожидал.

— Правда?

— Когда Часпер увидел меня в общественной уборной, я знал — это конец.

— Если как следует отредактировать, — сказала Шейла, — вышел бы очаровательный заголовок для «Всемирных новостей». Кажется, впрочем, в статье 18 про общественные уборные ничего не сказано. Тебя явно уволили по инвалидности.

— Понятно, — понял Эдвин. — Мне не дали особенных шансов поправиться, правда? По инвалидности, надо же. Ты уверена, что статья 18 не связана с дурным поведением?

— Ты уволен по инвалидности, — повторила Шейла. — Вот что с тобой случилось. Но оплатят больничный за пару месяцев. Считается, видимо, неразумно посылать людей назад в тропики с такой штукой, как у тебя. Ты про дурное поведение говоришь? Ты никакого понятия о дурном поведении не имеешь, дорогой Эдвин. Билабиальные фрикативы не совершают дурных поступков.

— В каком-то смысле совершают, — с жаром возразил Эдвин. — Я хочу сказать, взять хоть ту фонетическую мешанину, которая имеется в Бирме. Билабиальные фрикативы вместо полугласных. Конечно, на определенных исторических фазах развития британского английского все

было иначе. Отсутствовало наложение чужих фонемических правил на...

— Вот именно, — вставила Шейла. — *Вот именно.*

— Ох, — сказал Эдвин. — Да. — А потом молвил: — Больничный за два месяца. А дальше что нам делать?

— Я не знаю, что ты собираешься делать, — сказала Шейла. — Лично я вернусь в Бирму.

Эдвин с разинутым ртом таращился на нее, досчитав до пяти. Его сигарета медленно истлела до самых пальцев.

— Не понял, — сказал он. — На какую-то работу? Но у тебя квалификации нет.

— О нет, — возразила Шейла, — квалификация у меня есть. Кажется, по крайней мере, Джефф Фэрлав так думает.

Эдвин держал рот открытым, досчитав до семи. И сказал:

— Но ты не можешь выйти за Фэрлава замуж. Я тебе не позволю, развода не дам.

— Нет никакой особенной спешки с разводом, — сказала Шейла. — Дашь раньше или позже. Дашь, знаю. Не так уж тебе надо быть рядом со мной. Тебя, фактически, интересуют только билабиальные фрикативы, полугласные и прочая белиберда.

— А тебя Фэрлав сильно интересует? — Уголек сигареты коснулся кожи. — Чтоб тебя разразило, — сказал он, и пепел рассыпался по всей постели.

— Вполне, — сказала Шейла. — И Бирма меня тоже интересует. Климат нравится. Народ нравится. А еще нравится перспектива не быть больше неверной женой. Знаешь, не такой уж подарок — спать с билабиальным фрикативом.

— Может, заткнешься, — сказал близкий к слезам Эдвин, — насчет билабиальных фрикативов? Ты ко мне несправедлива, жестока. Знаешь, я еще не совсем хорошо себя чувствую. Тебе просто плевать, всегда было плевать.

— О нет, — сказала Шейла, — не было. Пока на дороге не встали билабиальные фрикативы. Извини. Ну, тогда полугласные. Фокальные взрывные. Ретрофлексия чего-то там такого. Жизнь, где правят закон Вернера и закон Гримма. Видишь, весь жаргон мне известен. Теперь, наверно, придется изучать жаргон хозяина тиковой плантации. Только не думаю, будто он тащит тиковое дерево с собой в постель.

— Ты всегда говорила, — медленно вымолвил Эдвин, — что есть только один тип неверности. Когда просто не хочется быть с человеком, которого якобы любишь. Ты говорила, что нет ничего хуже этого.

— Ох, все наши идеи меняются, — сказала Шейла. — Но все равно скажу, именно в это я сильно верила. Но когда личность перестает быть личностью, что тогда делать? Я не считаю себя обязанной любить кучу фонем, или как ты их там называешь. Куча билабиальных фрикативов — это ведь просто *неодушевленный предмет*, да? Нельзя любить неодушевленный предмет.

— Может быть, ты права, — признал Эдвин. — Странно, вчера я почти решил *тебя* бросить. Из-за ощущения, что ты меня бросила. Из-за страшного физического удара, который мне продемонстрировал, что тебе чертовски плевать на меня. Наверно, я этого заслуживаю в каком-то смысле. Но я решил стать другим, или постараться стать другим. За последние несколько дней я столкнулся со словами, как таковыми. И кажется, соприкосновение с жизнью сделало меня лжецом, вором, распутником, сутенером, мошенником, беглецом. Но, по твоим словам, этих нескольких последних дней просто не было.

Значит, я по-прежнему тот же. Вот именно. Но именно тебя я искал в те последние дни. Везде тебя искал. Фактически, не имеет значения, было все это в действительности или не было, правда? Даже воображаемый поиск тебя говорит о любви, правда? Я люблю тебя, вполне в этом уверен. И могу стать другим.

Шейла печально качала темной головой.

— Не думаю, что тебе надо становиться другим. Ты вроде машины, а мир нуждается в машинах. Ты как рентгеновский аппарат или какой-то прибор для электроэнцефалографии, на который ты жаловался. Тебя можно использовать. Но мне машина не нужна. В любом случае, не для того, чтоб с ней жить и ложиться в постель.

— Все мы должны делать что-то на этом свете, — сказал Эдвин. — Всем надо на жизнь зарабатывать. На мои билабиальные фрикативы и минимальные пары куплены твои украшения из жадеита и бутылки джина. — Речь его была мягкой. — Просто так, к сожалению, вышло, что способ заработать на жизнь доставляет мне наслаждение. Видно, женатому мужчине кощунственно слишком радоваться своей работе. Больше я такого греха не совершу.

— Это вообще твой единственный грех, — вполне дружелюбно заметила Шейла. — Но так вышло, что для меня это грех непростительный.

— Я больше не буду, — пообещал Эдвин. Пауза. — Поэтому теперь у тебя будет шанс хранить настоящую верность. Больше никакой казуистики насчет разделения брака на физический и духовный, которые никогда не сливаются воедино. Так или иначе, возможно, этот самый Фэрлав не

окажется столь терпеливым, как я. Возможно, ему не понравятся твои заходы с другими мужчинами время от времени. Если ты, — рассуждал Эдвин, — будучи моей женой, развлекалась со всякими типами вроде Фэрлава, с кем будешь развлекаться, выйдя замуж за Фэрлава?

— Ты ведь не очень-то хорошо знаешь Джеффа, правда? — сказала Шейла. — Он не ревнивый, что для меня в новинку.

— Ох, женщина, женщина, — вздохнул Эдвин. — А он обрадуется дружескому письму, полученному от огорченного, по простившего мужа, считающего лишь своим долгом предупредить преемника о беспорядочных связях жены в то время, как больной муж лежит или сляжет в постель?

— Что именно ты имеешь в виду?

— Что муж застал свою жену с неизвестной персоной за делом. Что подобный удар чуть его не убил.

— Просто, — сказала Шейла, — чистая глупость. Просто вранье и гадость. Смешно.

— Да я даже не думал об этом, — сказал Эдвин. — Не могу попусту тратить время. Надо сесть за статью о билабиальном фрикативе в лондонском английском низшего класса в девятнадцатом веке. Но все больше и больше задаюсь вопросом, действительно ли мне пригрезились те последние несколько дней.

— Я к тебе скоро снова приду, — пообещала Шейла, вставая, расправляя юбку. — Надо несколько дел уладить. Твои книги, одежда, вещи в Моламьейне. Одна из причин моего возвращения. Оплачен один билет в Бирму для устройства там дел. А еще машина и слуги. Я приду... ох, может, завтра? Да, завтра. Рада, что ты лучше выглядишь.

— Может быть, — предположил Эдвин, — завтра к вечеру передумаешь. Если это для тебя так важно, я могу стать другим. Не столь *неодушевленным предметом*.

— Вряд ли, — сказала Шейла. — Я вполне уверена, вряд ли. Так или иначе, очень уж в Англии холодно, правда? Завидую, ты тут лежишь в чудной теплой постели. А мне надо выйти, стерпеть холод, холодную осеннюю ночь. — Комически передернулась и ушла из палаты. Эдвин слышал ее каблучки на каменной лестнице, быстрые, нервные. Потом они вступили в зону тишины, устланного ковром вестибюля, и с ней было кончено. Но она оставила сумочку на тумбочке у койки. Эдвин едва не крикнул вслед, однако было слишком поздно. Попробовал позвать сиделку; сиделка не пожелала откликаться на зов. Ну и ладно. Может завтра забрать. Может вернуться и забрать сегодня. Эдвин гадал, не открыть ли сумочку, изучить личные письма, вдохнуть остаточный слабый

запах и пудру, ощутить ностальгический привкус ее тающего присутствия. Но, открыв застёжку и сунув в сумочку нос, попросту удовольствовался возвращением своего обоняния к норме, решил, что больше не желает иметь дело с какими-либо ее вещами. Палата все гудела приглушенными разговорами пациентов и визитеров. Он почувствовал сонливость. Повернулся на бок, подавил все мысли и чувства — свет и огонь в своем одиноком доме, — постарался заснуть. Сон пришел очень скоро. А отступал медленней.

— Сумку забыла, — сказала Шейла. — Надеюсь, я не разбудила тебя. Еще рано спать, правда? Тут еще посетители. Слушай, мне один человек сообщение передал, мужчина с виноградными листьями на голове. Хочет, чтоб ты с ним как можно скорее увиделся. Сумеешь запомнить? Жалко, очень неопределенное сообщение, только он говорит, планы на будущее у него весьма смутные, вот в чем проблема. Имя я не запомнила, но с виноградными листьями на голове. Ладно, спи, если хочешь. Я свой долг исполнила. Можешь теперь мечтать о любимых билабиальных фрикативах. Б-р-р, до чего же на улице холодно.

Глава 32

Эдвин проснулся с автоматической внезапностью, без всякого намека на грань между сном и явью. Он хорошо себя чувствовал — отдохнувший, исцелившийся, — и испытывал тошноту при мысли о стольких больных, сопевших вокруг. Ночная сестра читала в импровизированной палатке за ширмами; тонкий луч лампы бросал на страницу подвижную золотую гинею. Потертый серебряный боб на небе сиял над городом богаче солнца. Город, земля, целый мир ждали, полные спелых плодов, только рви. Больше он не останется тут ни минуты. Ощупал вполне гладкие щеки и подбородок. Тюрбан вызывал сожаление, впрочем недолгое. На сей раз он все устроит иначе.

Вылез из постели так тихо и медленно, — мягко, как язык проскальзывает из одной фонемической области в другую, — что сестра с острым слухом не смогла ничего услышать. Она перевернула страницу, где ее поджидала золотая гинея, монета, которая никогда не будет потрачена. Эдвин, пригнувшись, прокрался в конец палаты, всего через две койки от собственной. Хотя больше не собственной; этой койки ему никогда уже не увидеть. Он опять отправлялся на поиски Великого Мирового Неусыпного Ложа, где кипит жизнь шевелящихся пальцев и скачущих блох.

Глубоко вздохнул, добравшись до ванной, на миг отдохнул. Луна ярко освещала железные шкафы. Где его собственная одежда, — если ее не забрали, не спрятали, — он не знал; искать не было времени. Схватил что под руку подвернулось, более или менее подошло. Легкий скрип дверей шкафчика — все вещи сговорились сегодня ему помогать — был заглушен проехавшим грузовиком, за которым последовал мощный автомобиль, за которым последовал мотоцикл. Эдвин выбрал хороший костюм, кажется своего размера; пару носков без дыр, чистое белье, галстук, рубашку, модный жилет; ботинки, на залитой лупою подошве которых четко виднелся его собственный большой восьмой размер, средняя полнота; мягкую фетровую шляпу трильби, отлично, к его удовольствию, подошедшую. Денег вроде бы нигде нельзя было украсть. Наплевать. Они скоро к нему придут. Наконец, вспомнил, что теперь долго придется терпеть холод в Англии, и поэтому взял довольно хорошее бледно-синее пальто.

Заперся в ванной, без спешки оделся. Закончил, и решил, что выглядит хорошо. Из-под шляпы едва виднелись бинты. Рубашка дорогая,

блестящая, воротничок прекрасно сидит. У этих косноязычных мастеровых в палате есть и вкус и деньги, подумал Эдвин. Платки — он забыл носовые платки. Натаскал из шкафчиков дюжину наугад, — шесть сморкаться, шесть красоваться, — а последняя кража у анонимных товарищей по палате добавила джентльменскую ноту наряду: трость, прекрасный выбор в этом заведении для нетвердых на ногу. Потом, полностью вооруженный, тепло одетый, красивый, спокойно вышел на лестницу, открыто сошел в вестибюль. Оказалось, новая палата располагалась ближе к внешнему миру, чем та, другая, с Р. Дикки и прочими. Ночной привратник дремал за столом. Не тот, которого Эдвин знал раньше. Он очнулся, ошеломленно глядя на представительного джентльмена с прямой осанкой, который, помахивая тростью, сверил свои часы с часами в вестибюле, констатировал отставание часов в вестибюле на пять минут и вздохнул, только что закончив дежурство.

— Простите, сэр, — извинился привратник. — Я тут новенький. Как вас зовут, сэр?

— Доктор Эдвин Прибой, — сказал доктор Эдвин Прибой.

— Спасибо, сэр. Извините, сэр. Сейчас я вам открою, сэр. Доброй ночи, сэр, или доброго утра, правильней будет сказать. — Он открыл массивную входную дверь и выпустил Эдвина на свободу лондонской ночи, пахнувшей осенью, нефтью, дальними огнями. Или утра, правильней будет сказать. Эдвин зашагал к огромной лондонской магистрали, сиявшей за площадью и окольными улочками. Он шел искать мистера Танатоса, который, конечно, мог быть где угодно. Разумеется, никакой спешки нету. Масса времени для массы пикантных авантур. А потом мистер Танатос, коронованный виноградными листьями.

По дороге к магистрали Эдвин встретил множество кошек, но всего одного человека. Это был Хиппо, который рекламировал сзади и спереди КРУГЛОСУТОЧНЫЕ СОСИСКИ ДЖО.

— Вернул, значит, свои часы, — сказал Хиппо, без удивления узнав Эдвина. — Прямо чертова работа. Видишь, теперь работаю по ночам. Конец, вот что это такое, конец.

Примечания

1

Выше 36 °C. *(Здесь и далее примеч. перев.)*

Кокни — просторечие коренных лондонцев, особенно уроженцев промышленного портового района Ист-Энд.

Акрофобия — патологическая боязнь высоты.

4

36,8 °C.

Герой пьесы шотландского драматурга Джеймса Мэтью Барри (1860–1937) «История любви профессора» в своих рассуждениях постоянно подменяет понятия.

«Вам это доставляет такое удовольствие, а мне стоит так мало труда»
(*фр.*) — фраза, приписываемая знаменитой французской куртизанке.

Касл (castle) — замок (*англ.*).

Рук (rook) — ладья (*англ.*).

Панч — персонаж английского кукольного театра, Петрушка.

Во время описываемых в романе событий пабы закрывались в 23 часа; прием заказов на спиртные напитки прекращался за десять минут до закрытия.

Речь идет об опере Рихарда Вагнера «Зигфрид» из тетралогии «Кольцо нибелунга».

Ковент-Гарден — во время описываемых в романе событий главный лондонский оптовый рынок фруктов, овощей и цветов на одноименной улице (перенесен в другой район в 1975 г.); то же название носит расположенный поблизости Королевский оперный театр.

Тейт — лондонская картинная галерея.

Большое спасибо (нем.).

Сэм Уэллер (Weller), слуга мистера Пиквика в романе Чарльза Диккенса, произносит свою фамилию «Веллер» (Veller).

«Ежиком» (фр.).

Очень хорошо (*um.*).

Вино... за сеньоритами. Очень красивые (*ит.*).

Нормативный английский язык.

Лес имеет в виду оперы «Зигфрид» и «Гибель богов» из тетралогии Вагнера.

Я говорю по-испански, сеньора (*исп.*).

Человека, который смеется (*фр.*), т. е. уродливого героя одноименного романа Виктора Гюго.

«Старая чайная» (*англ.*).

Солецизм — синтаксическая ошибка; определенный артикль the заменен формой *уе*.

Доктор (*um.*).

Жизнь богемы (*фр.*); оригинальное название оперы Дж. Пуччини «Богема».

Далила остригла библейского героя Самсона, лишив его силы.

Воняет (*фр.*).

Да (ит.).

Да, да, понял (ит.).

Лондонское издательство «Питман и сыновья» выпускает преимущественно учебники, справочники, научно-техническую литературу.

Красиво (*ит.*).

Привычно (*фр.*).

Покорно (лат.).

Барнс Уильям (1800–1886) — английский поэт и священник, писавший на дорсетском диалекте.

Помолимся (*лат.*).

Паспорт (*φρ.*).

Боб — разговорное название шиллинга.

«Так вы не для себя» (лат.). Полустишие, написанное Вергилием для изобличения, посредственного поэта, присвоившего его строки. Когда плагиатор не сумел раскрыть смысл этих слов, Вергилий пояснил:

Эти стишки я написал, а почести достались другому.
Так вы не для себя вьете гнезда, птицы,
Так вы не для себя приносите шерсть, овцы,
Так вы не для себя мед собираете, пчелы,
Так вы не для себя плуг тащите, воны.

Претерит — форма прошедшего времени.

Траурный марш (*нем.*).

Линн Вера — популярная в годы Второй мировой войны британская певица.

Шаффлборд — популярная в пабах игра с монетами или металлическими фишками, которые щелчками передвигают по разделенной на девять клеток доске.

Последний удар (*фр.*).

Обманки (*фр.*); жаргона для тайных переговоров.

Конкурс (англ.).

Королева (*англ.*).

Да, да, ужасно (нем.).

Доппель (doppel) — двойной (*нем.*).

Героиня оперы Рихарда Штрауса «Саломея» исполняет перед царем Иродом танец с семью покрывалами, сбрасывая их одно за другим.

Юнг (jung) — молодой, юный (*нем.*); но для Эдвина это имя прославленного философа.

Черный зерновой хлеб.

Сказочно (нем.).

В рифмованном сленге кокни, шифрованном языке, непонятном для непосвященных, слова заменялись рифмующимися с ними фразами, вторая зарифмованная часть которых со временем опускалась, отчего речь становилась еще непонятнее. В приводимых Эдвином примерах слово «арс» (задница) заменяется словосочетанием «боттл энд гласс» (бутылка со стаканом); вместо «боттл» (бутылка) говорят «Аристотл» (Аристотель в английском произношении).

Отпадение в слове последнего слога или звука.

Грейхаунд — английская беговая борзая собака.

Находясь при смерти (*лат.*).

Гладстон — неглубокий кожаный саквояж, получивший название по имени британского премьер-министра Уильяма Гладстона (1809–1898).

Горбалс — район трущоб в Глазго.

Сорока — полпенни на воровском жаргоне.

Здесь: мансарда (англ.).

Дом (*англ.*).

Первоцвет (*англ.*).

Топинамбур, буквально «иерусалимский артишок» (*англ.*).

Тротуар (*англ.*).

Совет Лондонского графства.

«Вудбайн» — курительная трубка из жимолости.

Итальянский ресторан (*ит.*).

Каридж (Courage) — мужественный (*англ.*).

Элгар Эдвин Уильям (1857–1934) — английский композитор и дирижер, создатель национального стиля в оркестровой музыке.

Видимо, с отрубленной головой Иоанна Крестителя.

Белгрейвия — фешенебельный район Лондона близ Гайд-парка.

Бич, кнут (*лат.*).

Белый (*исп., порт.*).

Glamour — очарование; grammar — грамматика (*англ.*).

Крипторхид — страдающий неопущением яичка.

Кавалер (*исп.*).

«Пэн», «Пенгвин» — крупнейшие лондонские издательства.

Не слишком плохие... Не слишком хорошие (нем.).

Приветственный клич.

Твое и мое (*лат*).

Йоркшир — пудинг из жидкого пресного теста, запеченного под куском мяса на рашпере; самые популярные блюда английской кухни.

Кирико Джорджо де (1888–1978) — итальянский живописец, предшественник сюрреализма.

Клее Пауль (1879–1940) — швейцарский художник, один из наиболее оригинальных мастеров XX в.

В декабре 1773 г. борцы за независимость североамериканских английских колоний выбросили в море партию чая с британских кораблей в Бостонском порту.

Дэви Джонс — на морском жаргоне злой дух моря.

«Раками», «красномундирниками» презрительно называли английских солдат.

Тушеные почки (*фр.*).

Рескин Джон (1819–1900) — крупнейший английский художественный критик, публицист, теоретик искусства.

Так. Сколько времени? *(нем.)*

Да, да, правильно (нем.).

С сияющим льдом, с белым снегом идет Рождество, ах, ах! (.нем.)

«Золотая лань» — судно, на котором Фрэнсис Дрейк отправился в 1577 г. в кругосветное плавание.

Лад, Олд — обиходное название старых районов Лондона, Ладгейта и Олдвича.

Суини Тодд — в английском фольклоре безумный цирюльник, убивавший своих клиентов.

Убитые в лондонском Тауэре, предположительно по приказу их дяди, Ричарда III, малолетний король Эдуард V и его младший брат Ричард, герцог Йоркский.

Имя и фамилия девушки буквально означают «воды Рейна», уже упоминавшиеся в романе.

Кабинки (фр.).

Хомбург — фетровая шляпа с узкими, слегка загнутыми полями и продольной вмятиной на мягкой тулье.

«Кавалер роз» (*нем.*) — опера Рихарда Штрауса.

Королевские военно-воздушные силы.

Танатос — по-гречески смърть.

Хочу умереть (*греч.*).

Омофоны — одинаково звучащие, но по-разному пишущиеся слова.

Евангелие от Матфея, 18:22.

Господин. Имя (*греч.*).